

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

Очерки и рассказы
(сборник)



Николай Георгиевич Гарин- Михайловский

Очерки и рассказы (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174604
Детство Тёмь: Эксмо; Москва; 2006
ISBN 5-699-15448-7

Аннотация

Содержание:

Под вечер

На ходу

Бабушка Степанида

Дикий человек

Переправа через Волгу у Казани

Немальцев

Вальнек-Вальновский

Исповедь отца

Жизнь и смерть

Два мгновения

Дела. Наброски карандашом

Когда-то

Клотильда

Содержание

ПОД ВЕЧЕР	4
НА ХОДУ	32
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Николай Гарин- Михайловский

Очерки и рассказы

ПОД ВЕЧЕР

Очерк

В гостиной с мягкой мебелью сидело целое общество. В отворенные двери виднелись большая терраса и спускавшийся к реке сад.

– Если Вася не разобьет барометра, – проговорила молодая девушка с веселыми серыми глазами, сестра владельца имения, Вера Николаевна Плетнева, – я не я буду. Каждую минуту: тук-тук-тук. Тук-тук-тук...

В комнату вбежал пятилетний стройный, живой мальчик с босыми тоненькими ножками. Он на мгновение остановился, показал всем свое покрасневшее личико, сверкнул возбужденными, полными жизни глазами и, заметив отца за любимым занятием, проговорил просительно, но уверенно:

– Папа, и я...

Отец поднял общего баловня. Мальчик, сделавшись вдруг сосредоточенным и серьезным, осторожно постучал пальчи-

ком по стеклу барометра.

– Володя, ты покрепче, кулачком, – посоветовала молодая тетка его и весело рассмеялась.

– Ну что, будет дождь? – спросил отец, опуская его.

– Будет! – быстро и весело, болтнув ногами по воздуху, прежде чем стать на пол, вскрикнул мальчик.

– Молодец мужчина! Теперь иди к тетке и покажи ей язык.

– Ва-а-ся! – протянула жена его Марья Александровна, оставляя работу и ласково любуясь на мужа.

– Мило, очень мило, – проговорила сестра. – Как ты думаешь, Володя, кто умнее: папа или ты?

– Папа, – ответил мальчик.

– А я думаю, что ты, – сказала Вера Николаевна.

Мальчик неопределенно уставился на тетку.

– Володя, а кто умнее: ты или тетя Вера? – спросил Василий Николаевич. Мальчик пытливо посмотрел на тетку и, сверкнув глазами, лукаво ответил:

– Не знаю.

Все рассмеялись.

– Ах ты скверный мальчик! – вскрикнула тетка, делая вид, что хочет схватить его. Но мальчик, взвизгнув и сверкнув еще раз на всех своими смеющимися глазенками, быстро исчез из комнаты.

Смеялся Василий Николаевич, смеялся, как-то весь сморщившись, доктор Павел Андреевич Лесовский, точно давясь своим «хи-хи-хи», улыбалась Марья Александровна своей

обычной улыбкой, выразившей все ее душевное спокойствие и удовлетворение. Улыбалась и Вера Николаевна, маскируя желание чем-нибудь отпарировать удар.

– Я ничего... я ничего... ха-ха! Устами младенцев... ха-ха!

– Вася, ну что ты пристал к Вере? – спокойным, приятным, немного певучим голосом проговорила Марья Александровна.

– Оставь его, – горячо проговорила Вера Николаевна, – он без барометра и меня жить не может. Не барометр, так я...

– Ха-ха! – сконфуженно пустил Василий Николаевич и, смазав лицо себе рукой, снова машинально подошел к барометру.

– Ну вот...

– Ха-ха! – опять рассмеялся Василий Николаевич и, махнув рукой, проговорил: «Ну вас» – и вышел на террасу.

– А мы тоже пойдем? – обратилась ко всем Марья Александровна.

Все трое вышли на террасу.

Марья Александровна втянула в себя свежий вечерний аромат поливаемых цветов, прищурилась на заходящее солнце и, проговорив «хорошо», села в удобное гнутое кресло. Доктор подсел на ступеньки террасы, а Вера Николаевна остановилась в дверях и, то поднимаясь на носках, то снова опускаясь, не знала, что лучше: присесть или уйти.

– Ну, что еще? – спросил Василий Николаевич, останав-

ливаясь перед ней.

Вера Николаевна скользнула по нем глазами и проговорила:

– Ну, теперь к барометру.

– Ха-ха! – рассмеялся, круто повернувшись от нее, Василий Николаевич и стал шагать по террасе.

– Так, как сказал Володя...

– Да что ты радуешься на Володю, – быстро проговорила сестра, садясь в кресло подальше. – Ты знаешь, что Володя в меня.

– Конечно! – фыркнул Василий Николаевич.

– Ну пожалуйста, – проговорила Марья Александровна, не отрываясь от шитья, – Володя в дедушку.

– И я в дедушку!

– В моего дедушку, – спокойно проговорила Марья Александровна и положила работу на колени. В то время, как все лицо ее оставалось серьезным, глаза ее весело, добродушно, лукаво смеялись, смотря на Веру Николаевну. Этот неожиданный сюрприз, комичный контраст тонов обеих, вызвал дружный смех.

Веселее всех смеялась сама Вера Николаевна, как-то избалованно откинувшись на спинку кресла.

Марья Александровна продолжала смеяться больше глазами, красивыми, ясными, спокойными, с тем выражением мягкой силы и безмятежной тишины, которые так манят к себе, так незаметно втягивают в сферу своего удовле-

ния, так добровольно подчиняют себе мягкой силой любви.

– Ну, хоть и в твоего дедушку, – помирилась Вера Николаевна, – а все-таки не в Васю...

Марья Александровна опять принялась за шитье. Работа доставляла ей видимое наслаждение, в ней она как будто и черпала свою тихую, ясную свежесть, свой веселый юмор и добродушие. Оторви ее от этой деревенской обстановки, перенеси в городскую – обычной светской жизни, – и, может быть, ее манеру назвали бы простоватой, а сама она, заняв место где-нибудь в стороне от главного течения, была бы не опасной конкуренткой светским дамам. Но здесь она была царица, здесь она властно подчиняла все своему влиянию, в ней отражался и чувствовался весь этот тихий, ясный догорающий день. В Вере Николаевне, наоборот, чувствовался городской житель, томящийся и скупающий.

– Конечно, – продолжала Вера Николаевна, отвечая на фыркание Василия Николаевича, – ты комок нервов, вот тот барометр, а Володя живой, здоровый мальчик.

– Комок нервов... – опять фыркнул как-то про себя Василий Николаевич, продолжая ходить по террасе.

– Ну, ты только не сглазь, пожалуйста, – проговорила добродушно-певуче Марья Александровна.

– О! – весело и в то же время с некоторым испугом быстро вскочила Вера Николаевна. – Чур-чур, наше место свято, я лучше играть пойду.

– То-то, – усмехнулся ей вдогонку Василий Николаевич.

Немного погодя из открытых окон столовой полилась тихая, нежная, легкая музыка.

– Хорошо играет Вера Николаевна, – проговорил доктор.

– Хорошо, – проговорил Василий Николаевич и остановился.

Он хотел было пожаловаться на нее, что она таланты в землю зарывает, не работает серьезно и петь могла бы: голос есть. Но вместо этого только провел рукой по лицу, покосился на жену и проговорил, осматривая пепельное небо:

– Нет, надо, надо дождика.

Он подошел к доктору, остановился и весело продолжал:

– А по-вашему, удобрение? А? Вот как высушит все... –

Василий Николаевич поборол неприятное чувство, поднявшееся было в нем при этом. – Шутка сказать, месяц нет дождей, а жариле-то... Какое тут удобрение?

– И Иван Иванович, – проговорил доктор, – пищит: «Я, извольте видеть, докладывал вам, что по нашим местам не в земле, а в небе сила. Земля наша, извольте ли видеть, хлебодарная, ей не навоз, ей влага-с нужна, а силы в ней конца нет!» А у самого хлеб уже сгорел; а я вот приехал из колонок – у немцев хлеб еще зеленый. Вот вам и удобрение. Если вы, люди образованные, отрицаете навоз, то чего ж от этих-то спрашивать? – мотнул доктор на речку, из-за которой в зеленой листве сада просвечивался ряд серых, соломой крытых изб.

Василий Николаевич пожал плечами, отошел, опять по-

дошел, посмотрел на доктора и фыркнул.

– Те уж окончательно уперлись, – продолжал доктор, – «не примат навозу наша земля, и баста!» Ну и, не дай бог, еще недельку не будет дождя. Голод?! – горячился доктор. – Немцы, как-никак, что-нибудь соберут... цена будет... а они-то как?

Василий Николаевич насупился и нетерпеливо посмотрел на небо.

– Бог даст, будет дождичек, – поспешно проговорила Мария Александровна, тоже тревожно взглянув на небо и, переводя глаза, остановилась на муже, как бы говоря: «Взволнует он тебя». Муж ответил ей мельком взглядом, означаящим «не взволнует», и, сдвинув брови, зашагал по террасе.

– Ждать, что сами додумаются? – продолжал доктор. – Ждите. – И, помолчав, продолжал: – Тут организация нужна, система, та система, которой даже начала еще нет, то есть нет даже ясного, хотя бы отвлеченного сознания безвыходности того положения вещей, какое существует. Нет его даже у вас, у людей, ближе других стоящих к делу. Что здесь делается, как в непосильной, нечеловеческой жизни, в бесполезном труде гибнут силы, мы даже знать не хотим; прежде хотя интересовались, а теперь... мы разлюбили эту мужицкую жизнь, – это так скучно! Мы сидим на их шее, как прежде помещики сидели, и еще хуже; что хуже, доказательство то, что прежде мужики имели что-нибудь, а теперь нет у них ничего; но мы, как и прежний помещик, даже и не сознаем

этого. Прежде мужик, доведенный до отчаяния, мог прийти и протестовать пред своим барином по крайней мере. Мы избавились и от этого неудобства: все мы в городе и знать ничего не хотим, – какое нам дело, что мужик, чтоб вырвать у природы урожай сам-три, затрачивает силу, могущую дать урожай сам-двадцать? Что такое сам-три, сам-двадцать, когда наш курс хорошо стоит? Все это ерунда, клевета и вовсе не интересно. Интересно политика, последнее слово, понимание его, интересно, что мы самосознаем себя, интересно и обидно, что нас Запад не признает. Не прежнее ли это доброе время, когда барыня сидит в гостиной и ведет тонкий разговор, а на конюшне...

Доктор остановился.

Василий Николаевич сделал нетерпеливую гримасу, скользнул взглядом по жене, как бы говоря «зарапортовался», и проговорил про себя:

– Упрекать легко...

– Вас лично никто и не упрекает. Лично вы, может быть, делаете и больше, чем можете...

Музыка оборвалась. Вошла Вера Николаевна, обвела скупящими глазами общество и молча небрежно опустилась в кресло.

– Все спорите? – спросила она доктора.

– Не смею больше... – проговорил повеселевший при появлении Веры Николаевны доктор, – чтоб не огорчать, во всяком случае, достойного и милейшего хозяина.

Василий Николаевич покосился на доктора и проговорил повеселевшим тоном:

– Чтоб не огорчать? А? – И, улыбаясь, он присел возле доктора.

– Так-то, батюшка мой, – проговорил он, касаясь рукой колена доктора. – А дождика все-таки надо... Хоть бы это и было уроком, но бог уж с ними, с такими уроками. А?

– Вероятно, и будет дождик, – проговорил доктор, всматриваясь в небо. – Вон видите, тучка выплывает.

Василий Николаевич быстро посмотрел по указанию доктора.

На юго-западе, в виде какой-то остроконечной зазубренной вершины, медленно выдвигалась темно-фиолетовая тучка.

– А что вы думаете? – встрепенулся Василий Николаевич. – Ведь это из Гнилого угла... Вы не смотрите, что она маленькая... откуда что возьмется... взмоет... гром... ливень... А?

– Бывает, – согласился доктор.

– Двести пудов на десятине?

– Бывает, бывает.

– Ха-ха! – пустил Василий Николаевич и, встав, снова зашагал по террасе.

– Нет, невозможно... мечты какие-то... так, вроде Манилова стал. Мост этакий через пруд... А? Ха-ха!.. Право! Или вот, как семинарист в какой-то книге говорит: «Горизонт

наш не обширен, до этого лесу и обратно». Ха-ха! Право! Нет, невозможно! Вот только прольет из этой тучки дождь – в Париж! Завтра же еду! Что здесь? Безобразие! Невежество!.. Имение продам, куплю там, как это называется, виллу там, что ли? и буду себе... А?

– Слыхали, – проговорила сестра. – Каждая весна начинается Парижем, а пять лет в Петербург собираются.

– Не рассуждать! Завтра же собираться! Чтоб все было готово!

– Да ты, может, один поедешь, – предложила Марья Александровна, – а то вот с доктором. Право... что вам с нами возиться еще...

– А что, доктор? В самом деле, ну их... Пойдут эти шляпки, карточочки... А нам что надо? А? Право, отлично! А они пусть хозяйничают, распоряжаются, деньги копят. А мы приедем, отчет с них снимем. Останемся довольны, расскажем им... чего им еще надо?

– Да главное, сами же предлагают, – проговорил доктор.

– Позвольте-с, вы не поняли нас, – протянула Марья Александровна, – мы тоже поедем, только не с вами.

– Что-о? Это куда же?

– Мы найдем куда... Мы куда поедем? – обратилась Марья Александровна к Вере Николаевне, смотря на нее своими смеющимися глазами.

Вера Николаевна, положив голову на спинку кресла, смотрела куда-то вдаль, и мысли ее были далеки от разговора.

Она рассеянно ответила:

– В обратную сторону от них...

– А, так вы так? Это вы что ж, к зуавам, что ли?.. Тебе чего?

Последний вопрос, сделанный Василием Николаевичем уже серьезным тоном, относился к подошедшей в это время к ступенькам террасы старухе.

– Федора Елесина хозяйка, бабушка. От Федора к тебе.

Василий Николаевич молча прошел по террасе.

– Возвратился? – спросил он, останавливаясь.

– Ась?

– Иди сюда поближе.

И Василий Николаевич опять зашагал.

Старуха тяжело поднялась на ступеньки и остановилась. На вид ей было лет шестьдесят. Старое рыхлое тело ее сгорбилось и отдавало старческой немочью. С какой-то клоко-чушей машиной в груди она стояла, плотно прижавши свои руки к бедрам, обтянутым старушечьим пестрядиновым сарафаном, и смотрела своими детскими взволнованными голубыми глазами в мягкие прямые волосы, большой лоб, в длинную бороду, в большие серые глаза хозяина.

– В чем дело?

– Ох, бабушка Василий Николаич, возвратился мой Федор, да не на радость, видно...

Голос старухи оборвался.

Василий Николаевич как-то сразу подобрался, ушел в се-

бя и, машинально проведя рукой по своим редким волосам, сухо, точно досадливо, проговорил:

– Говори же...

Старуха оправилась и уже спокойно продолжала:

– Федор-то мой уже третий день без памяти, батюшка Василий Николаич. Сегодня утречком опамятовался маленько, байт: «Сходи, старуха, к Василию Николаичу, не поможет ли опять, как в запрошлом-те лете... скажи, мол, рукописку ему с богомолья принес», – про икону святителя Николая, значит. Обещал он тебе, что ли, уж я не знаю?

– Помню, помню... Да как он заболел?

– Господь его знает, батюшка Василий Николаич. Уж с богомолья трудной пришел. В первый-то день все переламывался, в баню сходил, сродники пришли, про святые места описывал, а уж к вечеру-то, видно, и разломило его и разнедужился он...

– Что ж болит у него?

– Да все, батюшка, на все жалуется. Трудно лежит, так трудно, так трудно, что уж мы и не чаем...

Старуха точно испугалась своих слов, глаза ее широко раскрылись.

– Все мечется, так мечется да стонет, да не в уме говорить стал. Право, батюшка, надо дело говорить... А сегодня опамятовал и байт: «Ох, старуха, костыньки мои болят, все нутро опалило, видно смертынька моя пришла!» А я что тут могу?! Помрет он, чего я стану делать? Старая я да больная...

сама едва ноженьками ворочаю; кашель душит... избушечка курная... Оставит меня, а на кого оставит, куда я пойду? Детей нет...

Старуха тихо жаловалась. Слезы одна за другой закапали по ее лицу. Наступило молчание. Василий Николаевич подошел к решетке и молча смотрел перед собою.

Солнце совсем село. Красным заревом вспыхнул запад, и розовые полосы потянулись по прозрачной реке. Только к берегу еще резче отделилась темною голубоватою сталью вода. В воздухе посвежело и еще сильнее потянуло ароматом цветов. Фиолетовая тучка разрослась, вытянула еще несколько остроконечных вершин и точно застыла. Запахло дождем.

– Стою я вот, – тихо, размеренно продолжала старуха, – батюшка Василий Николаич, перед тобою... и вся тут: нет ничего! Думала, он мои косточки успокоит, не даст в обиду людям, а вместо того мне же его хоронить доводится.

И старуха, захватив рукой кончик передника, прижав его к глазам, тихо, горько заплакала.

Василия Николаевича, стоявшего перед ней, точно ветром отпахнуло, и он быстро зашагал по террасе.

– Ну что ж ты живого человека хоронишь, – с болезненной grimасой, как-то тихо, встревоженно проговорил он.

– Ох, помрет, помрет, – тоскливо взывала старуха, охваченная вдруг страшным предчувствием конца.

– Перестань, – нервно остановил ее Василий Николае-

вич, – не поможешь же этим.

Он остановился.

– Мы с доктором сейчас приедем. Может, и не так еще страшно.

Он опять замолчал и уж не скоро, как будто про себя, нехотя, тихо проговорил:

– Ну, уж не дай бог чего... не оставим же.

Старуха повалилась в ноги.

– Батюшка мой Василий Николаич, ты один у нас защитник наш, куда без тебя денешься.

– Ах... – нервно заерзал рукой по голове Василий Николаевич.

– Встань, встань, мамуша, – проговорила приветливо Марья Александровна. – Барин не любит, чтоб в ноги кланялись. Богу кланяйся.

Старуха медленно встала.

– Ничего, матушка Марья Александровна. Не грех и поклониться и тебе и ему, матушка Марья Александровна.

И старуха опять бултыхнулась в ноги.

– Встань, встань, – как-то испуганно проговорила Марья Александровна.

– Ничего, матушка, ничего, – говорила старуха, вставая, – отцы вы наши.

– Ну, ступай с богом, – мы сейчас приедем.

Старуха еще раз поклонилась и стала тяжело спускаться.

– Лошадь вам? – спросила Марья Александровна и крик-

нула:

– Саша!

Вошла серьезная, чисто одетая, некрасивая горничная.

– Саша, скорее барину лошадь... Кабриолет вам, что ли?

– Кабриолет, – рассеянно ответил Василий Николаевич.

– А лошадь – Шарика?

– Шарика, – тем же тоном сказал Василий Николаевич.

– Ну, кабриолет и Шарика; поскорей только!

– Сейчас, – серьезно проговорила Саша и скрылась.

Когда Василий Николаевич начинал волноваться, он притихал, делался сдержанным, рассеянным, говорил тихо, медленно и как бы нехотя.

Он беспрестанно проводил рукой по лицу и то останавливался, то опять начинал шагать.

– Нет, право, как это... – начал было он, подавляя охватившее его волнение.

Марья Александровна беспокойно посмотрела на мужа и проговорила:

– Да может, пустяки еще... у них все смерть... Посмотрит доктор... Два года тому назад так же прибежала...

Василий Николаевич покосился на жену и продолжал молча ходить. Лицо его немного прояснилось.

– Вперед-то к чему волноваться, не стоит, – тем же тоном, рассудительным, мягким и спокойным, продолжала Марья Александровна.

– Право, ты, Вася, хуже той бабы, – проговорила его сест-

ра. – Никто еще не умер, а ты уж отходную запел.

– А? – встрепенулся Василий Николаевич. – Отходную? Он посмотрел на разраставшуюся все тучу.

– А все живы?.. Нет, уж мужик больно хорош. Ну, едем!

И Василий Николаевич нервно начал застегивать свой чесунчиковый пиджак на все пуговицы.

– Да ведь не подали еще, – заметила Марья Александровна.

– Подадут, матушка, подадут, – ответил Василий Николаевич. – Увидят, что барин ждет, и поторопятся. Ну, пойдем!

– Да ты что это, мою шляпу надеть хочешь?

Василий Николаевич посмотрел на шляпу жены, которую машинально взял было в руки, добродушно посмотрел на всех, махнул рукой, пустил свое «ха-ха» и, взяв соломенную шляпу, пошел за доктором чрез столовую на дворовое крыльцо.

– Право, Вася хуже всякой женщины, – проговорила Вера Николаевна. – Это бабушка его так разбаловала.

– Да, уж впечатлительный. Проводим их?

Обе дамы встали, но пошли через сад во двор. Они нашли мужчин, стоявших посреди двора в ожидании лошади. Доктор говорил что-то. Василий Николаевич слушал, ковыряя палкой землю. Его глаза безжизненно, безучастно – признак волнения – смотрели вдаль.

– Ну, говорила я вам, что будет ждать? – протянула Марья Александровна.

Глаза Василия Николаевича приветливо сверкнули.

– Вы чего еще тут? – добродушно-ворчливо проговорил он. – Вас еще не доставало!

– Ну, мы уйдем, – ответила Вера Николаевна.

– Нет уж, – проговорил доктор, – если не для него, так для меня хоть останьтесь.

Доктор рассмеялся и покраснел.

Глаза Марьи Александровны рассмеялись и уставились на Веру Николаевну. Последняя, стоя за спиной доктора, сделала большие глаза и комично заболтала руками.

Василий Николаевич скользнул глазами, едва приметно про себя усмехнулся и повеселевшим голосом проговорил:

– А ведь тучка растет.

– Да будет, будет дождь, – успокоительно проговорила Марья Александровна.

Кабриолет подали.

– Ну, прощайте вы, – проговорил Василий Николаевич.

– Вы уж его веселого, доктор, привозите с собой.

– Не пускайте, – крикнула Марья Александровна.

– Ни за что не пущу, – ответил, повернувшись к дамам, доктор. – Веревками привяжу.

И доктор показал руками, как он привяжет.

– Доктор, доктор, – крикнула Марья Александровна, – не забудьте кстати к Кислиным... Перед обедом вам говорила, помните?

– Ага, хорошо.

И доктор, повернувшись, сел как следует.

– Там еще что? – спросил Василий Николаевич.

– Замужняя дочь Кислина первый раз рождает... Родила,

но что-то неладно.

– Ну вот... Давно неладно?

– Да, кажется, вторые сутки уже.

– Ведь это что ж, скверно?

– Хорошего мало: заражение крови может быть.

– И смерть?

– Да уж...

– Вот оно... А старика не люблю: упрямый эгоист, вечно смущает остальных, но дочка его очень симпатичная. Веселая... такая бойкая... на святках, бывало... оденется в старинный костюм... Они ведь богатые... старoverы... Этакая, знаете, настоящая, как у Маковского... Замуж неудачно ее отдали... Отец потянулся за богатством... Теперь опять у отца живет. Куда же сперва заедем?

– Да прежде заедем, пожалуй, к Кислиным.

Кабриолет остановился у ворот зажиточной, в пять окон, избы. Серый осиновый сруб был сделан из толстых четырех-пятивершковых бревен. На крыше соломы было много, и, аккуратно приглаженная, она лежала, прижатая длинными жердями, маленькими ровными крестиками, сходящимися на коньке. От избы тянулись во двор постройки: кладовая, клетушка, сарай, все это, под одно с крайней крышей, крытое соломой, заворачивало под прямым углом и образовало

чистый, опрятный дворик. Под сараем виднелись телеги, бороны, плуг, соха, друг на дружку сложенные дровни, маленькие саночки, спинка которых была обита блестками жести.

Доктор пошел в избу, а Плетнев остался в кабриолете. Он видел, как во дворе поднялась суета при появлении доктора, забегали бабы, как доктор вошел в темные сени, как все стихло, как выбежала опрометью старуха Кислина и опрометью же бросилась назад в избу. Ему представилась картина родов, болезненные стоны, он сморщился и сухими, безжизненными глазами стал смотреть во двор. Вон в тех самых санках встретил он ее зимой, катаясь как-то с женой по деревне. Ему представилось ее свежее, бойкое лицо, зарумяненное морозом, карие, точно влажные, искрящиеся глаза, молодой задор их и смелый, в душу идущий взгляд. А теперь, может быть, этот взгляд уже навсегда потухает. В воротах показался доктор.

– Не допускают.

– Как не допускают?

– Не согласны на осмотр. А без осмотра я что же могу сделать?

– Так как же?

Доктор сделал гримасу.

– Уговорить их...

– Да уж уговаривал, старуха и слушать не хочет.

– Вы им говорили, что она умрет?

– Все говорил, не хотят.

– Почему же?

Доктор пожал плечами.

– Недоверие. Бабке, той все позволят.

– Я думаю, это стыдливость...

– Послушайте, какая тут стыдливость.

– Женщина-врач, – проговорил как мысль вслух Василий

Николаевич.

– Все равно, здесь не в стыдливости сила.

Василий Николаевич ничего не ответил и молча осмотрелся кругом. Заметив точно прятавшегося в конце улицы отца больной, старика Кислина, он, подождав, пока доктор сядет, тронул лошадь и подъехал к нему.

Ответив на низкий поклон мужика, Василий Николаевич проговорил как-то нехотя, не глядя на Кислина:

– Здравствуй, Кислин. Что ж это твои бабы делают?

– А что такое? – будто добродушно спросил Кислин, подняв на Плетнева свои маленькие, холодные, серые глаза. Но, несмотря на этот добродушный вид, чувствовалось во всей фигуре Кислина, его рыжей длинной бороде, которой он мотнул, как козел, какое-то скрытое злое раздражение.

Плетнев покосился на Кислина и лениво, устало проговорил:

– Знаешь же, в чем дело...

И, помолчав, прибавил:

– За что же дочь допускать до смерти?

Кислин уставился в землю.

– Я вот чего вам, Василий Николаич, скажу. Хошь она мне и дочь, а она у меня во где сидит.

Кислин пригнулся и показал на затылок.

– Не мое это дело выходит, – продолжал он, – кто брал, тот и заботься, – я полгода ее пою да кормлю.

– Да ты хочешь, чтобы она жила, или смерти ее хочешь? – брезгливо спросил Плетнев.

– Да господь с ней, пусть живет себе, – кто ж своему де-тищу смерти хочет? А только я к тому, что не мое это дело выходит, за людей делаю.

– Ну, там за людей не за людей, а сила в том, что осмотреть ее надо. Вот доктор хотел, а твои бабы не допускают его. А не осмотрит – помрет. Ведь что ж тут такое осмотреть? И мою же жену, когда больная была, осматривал доктор.

– Так, так, понимаю... а они не велят, значит? – не то участливо, не то насмешливо спросил Кислин, заглядывая в глаза Плетнева.

Василий Николаевич сдвинул брови.

– Глупо же...

– Знамо, что глупо. Баба она баба и есть, – проговорил Кислин и почесал свой затылок.

– Тебе бы распорядиться...

– Знамо, распорядиться, – раздумчиво проговорил Кислин, продолжая почесывать затылок.

Наступила долгая пауза.

– Ну, так как же? – спросил Василий Николаевич, все вре-

мя наблюдая боковым взглядом мужика.

– Да уж, видно, их бабье дело.

– Пусть помирает, значит? – холодно спросил Василий Николаевич.

Глаза Кислина гневно вспыхнули.

– Божья воля... Нет, уж, того... не надоть.

Кислин решительно тряхнул бородой и уставился в землю.

Плетнев проглотил сухую слюну.

– Ну что ж, едем? – тоскливо спросил он у доктора.

– Поедем, – как-то сморщившись, отвечал доктор.

Плетнев еще раз покосился на все в землю глядевшего Кислина и повернул лошадь.

– Вот вам, батюшка, – проговорил он, отъехав и обращаясь к доктору. – А?

– Народец, – вздохнул доктор.

– Каков? Вот тут и поделайте что-нибудь с ними. Дочь, родная дочь? А?

– Да.

– Вот, батюшка... Ну что ж, к Елесиным?

– Да, к Елесиным.

– Не надоть? – переспросил Плетнев. – Каков гусь? Это отец-то?

– А в какой наковальне и каким молотом надо было бить, чтобы выковать такого отца?

Плетнев сдвинул брови и, помолчав, нехотя проговорил:

– В той самой, где и Федора выбивали, к которому едем. Другой же совсем человек: простота, непосредственность, чистота душевная. И величие какое-то и смирение – ну вот как в первые века христианства только были... Право... Прелесть что за человек. Тпру...

Лошадь остановилась перед бедной, потемневшей от времени, покосившейся избой.

– А вы что ж, тоже? – обратился доктор к Плетневу, видя, что и тот слезает.

Плетнев ничего не ответил. Теперь и для непривычного глаза видно было, что он волновался. Его лицо как-то сразу осунулось, потускнело, глаза безжизненно искали, на чем остановиться.

Они вошли в темные сени.

У противоположной стены, на соломе, лежало сухое, костлявое тело Федора. Ворот пестрядиновой рубахи был откинут и раскрывал часть поросшей волосами груди, тяжело, порывисто дышавшей. Курчавая белокурая борода сбилась и прилипла к потному телу. Серые стеклянные глаза безжизненно глядели прямо перед собою. Побелевшие губы по временам что-то тихо шептали. Несмотря на щели и отворенную дверь, в сенях чувствовался тяжелый запах и пот больного. В дверях толпились родные – два мужика и несколько баб. При входе господ они посторонились и пропустили их к больному.

Федор повернул свои безжизненные глаза и молча, тупо,

бессмысленно уставился в Плетнева.

Плетнев чувствовал себя жутко под этим ледяным, прямо в упор на него направленным чужим взглядом.

Но вдруг в глазах Федора блеснул огонек, лицо согрелось, ожило, он точно вспомнил что-то и, продолжая тихо шевелить губами, стал пристально, с каким-то детским любопытством, весело всматриваться в Плетнева.

– Ну что, Федор, как поживаешь? – спросил Василий Николаевич, чтоб прекратить тяжелую для себя сцену.

Федор точно ждал этого вопроса: напряженность исчезла в его глазах, он будто вспомнил что-то или понял и, удовлетворенный, равнодушно отвел глаза от Плетнева, как от чего-то такого, что с этой минуты для него уж не представляло интереса. Он обвел других и остановил свои глаза на жене. Он поманил ее к себе едва заметным движением пальца и, когда та наклонилась, тихо проговорил, точно сообщая секрет:

– Озорничает...¹

Озадаченная старуха проговорила растерянно:

– Что ты, что ты, господь с тобой! Это Василий Николаич... отец наш. Молиться нам за него.

Федор выслушал, пожевал губами, подумал и спокойно, с упрямством безумного или в горячечном бреде человека, убежденно прошептал:

– Озорничает.

¹ Издается. (Примеч. автора.)

Сказав, он отвернулся к стене и молча уставился светлыми бессмысленными глазами в щель.

Василий Николаевич растерянно, тоскливо оглянулся кругом, постоял еще и отошел от больного.

Пока доктор делал осмотр, он вышел во двор и молча стал ходить взад и вперед. Тоскливое, тяжелое чувство охватило его. Он понимал, что Федор в бреду, но, как человек чуткий и вследствие этого подозрительный в отношении всякого рода чувств, он и боялся, и не хотел, и опять видел в словах Федора не простой бред.

«Бред, – думал он, – но, как всякий бред, он должен иметь подкладку».

Василий Николаевич спохватился, что стоял перед Федором в шляпе, вспомнил то невольное чувство брезгливости, какое он ощутил в ту минуту, когда стоял у одра больного, и еще тоскливее стало ему. Федор, который столько лет был ему близок, в глазах которого он улавливал всегда что-то понимавшее его, стал сразу чужим, сразу порвалась та связь, которую считал он прочной и надежной, и все как-то сразу обнажилось в подавляющей наготе своей. Уж очень ясно как-то стало. Он, Василий Николаевич, стоял пред другим человеком Федором. Он, сытый, довольный, обладающий всем, стоял перед этим обездоленным, заканчивающим свою многотрудную, тяжелую жизнь человеком, лишенным даже радости сознания, что верный друг его, старуха, остается обеспеченной хотя этим животным помещением да черст-

вым куском хлеба. И никому нет дела до этих парий человеческого рода. Никому, начиная с него. А если еще ужасы голода ждут всю эту голь перекаатную, которая и в хорошие годы не живет, а только влачит свое существование?! Лицо Плетнева исковеркал тупой ужас. «В город на зиму!» – ураганом пронеслось в его голове и тоскливо стихло.

Доктор вышел.

Они молча сели в кабриолет.

– Нет надежды. Воспаление легких, и оба... Перебои... с минуты на минуту надо ждать паралича сердца... Дал дигиталис для очищения совести... шестьдесят два года... да и поздно уж теперь.

Плетнев тупо слушал, следя безжизненными глазами за расплывавшейся в вечернем небе тучкой.

Нет, не будет дождя!

Кабриолет проехал мимо толпы мужиков, сидевших на углу двух улиц. Все встали и молча поклонились господам.

Когда экипаж отъехал, Фомин, худой, нервный мужик с толстыми синими жилами на тонкой шее, с редкой прямой бородой, угрюмо закончил свою оборвавшуюся проездом господ речь:

– Тут и живи...

Маленький, пьяный мужичонка Федька вскочил при этих словах как ужаленный и, пьяно подскакивая, стал бить себя в грудь, силясь что-то сказать. Но, кроме «эх-эх-эх!», ничего не выходило.

– Ну да ладно, – пренебрежительно отвел рукой Фомин навалившегося на него Федьку. Федька оправился и опять запрыгал перед Фоминым.

Наконец вышло что-то.

– Эх-эх-эх! Земля-то... Земля где? Ну?

– Ну? Нет земли!

– Эх-эх-эх! Лошаденка-то... Лошаденка одна? Ну?

– А то и ни одной...

– Ну? Одна?! Все одна?! Ну?!

– Ну? А я чего ж баю?

– Эх-эх-эх! Стой! – заорал вдруг Федька.

В его пьяном воображении кабриолет все еще был здесь где-то недалеко. Освещенный какой-то мгновенной мыслью, он повернулся, но кабриолет уже скрывался далеко за мостом.

И кабриолет исчез, и мысль, вырвавшись из пьяной головы Федьки, умчалась куда-то.

– Эх-эх-эх! – судорожно заметался он в мучительном напряжении поймать эту мысль, сказать желанное слово, подернувшееся уже было на язык.

– Ну да ладно, – сказал Фомин, – спать пора!

И, встав, он посмотрел на расплывшуюся тучку и проговорил, тряхнув угрюмо головой:

– Не дает господь дожидчка... хоть ты что...

Из избы Елесиных донесся протяжный замерший вопль старухи.

– Помер... – проговорил Фомин и, сняв шапку, медленно перекрестился.

Все молча сделали то же.

– Нет больше дяди Федора, – сказал молодой мужик Константин.

– Нету... – ответил Григорий и, погладив свою длинную рыжую бороду, закончил: – Дослужил свой срок. А старуха-то, старуха... И-и! Голосом воет...

НА ХОДУ

Жара невыносимая. Точно огнем жжет, будто стоишь, охваченный со всех сторон пожаром и напрасно жадно ловишь живую струйку.

Нет сил бороться. Все сдалось: последняя тучка сбежала с побледневшего неба, последний листик свернулся и осел, обессиленный палящим жаром.

Полдень.

Горсть моих рабочих вяло оставляет работу.

ЛИНЕЙКА

Привал в татарской деревне, тут же, на улице, в тени густой березы.

На чистой лужайке мечеть, разбитое стекло в высоком окне мечети, стройный минарет с тонким острием и полумесяцем наверху.

Все застыло и спит в неподвижном воздухе, и сам не то спишь, не то замер и ощущаешь предстоящую неподвижность вечности.

Вид минарета будит в сонной фантазии воспоминания о далеком юге, о царстве ислама, минаретов, заунывных призывов с них в часы тихой, безмолвной южной ночи. Вспоминается вопль наболевшей души Тартарена из Тараскона: «Али-алла! А Магомет старый плут! И весь Восток, и все

львы его, и девы Востока не стоят ослиного уха!»

В мечеть тихо и торжественно потянулась толпа правоверных на молитву: праздник какой-то. Они идут мимо меня в белых намотанных чалмах, в халатах и, по временам, соприкасая ладони, смотрят на них и что-то шепчут.

Вот, подпрыгивая, спешит в мечеть выходец с того света, высохший старый скелет в чалме и халате, точь-в-точь Кашей Бессмертный, как его рисуют, с длинной козлиной бородой.

Другой – черный, как негр, татарин с плутовскими глазами, уже успевший посидеть на корточках возле меня и сообщить мне преимущества многоженства:

– Одна баба не любит... Много баб завидуют друг дружке и стараются... Больно хороша!

И, боясь, вероятно, что я не пойму его тонкой психологии, он пояснил примером:

– Иноходец живет... один когда – худа бежит... Подцепил пристяжка: айда, пошел!

Теперь мой негр идет чинно, смотрит на свои ладони, шепчет что-то, но в то же время нет-нет и весело покосится в мою сторону.

Еще и еще, и все прошли, и опять опустела и застыла в летнем зное улица.

Из окон изб то и дело выглядывают любопытные обитательницы гаремов. Увы! Они так же мало похожи на красавиц, как их неуклюжая обувь из толстой шерсти и их грязные

платья мало похожи на клинчатый носок и полуобнаженный роскошный костюм тех красавиц гаремов, портреты которых иногда еще попадаются где-нибудь на почтовых станциях.

Нет молодых татарок. Есть дети и старухи – эти преждевременно сорванные и завядшие цветы.

А между тем у детей в большинстве прелестные выразительные лица, которые так и тянут к себе. Присядет на корточки, смотрит своими черными, как вишни, глазами: что-то мягкое, покорное, ласкающее и чистое, несмотря на их незатейливый, очень грязный и к тому же сильно пахучий костюм. И среди этих тряпок у девочек непременно браслет – медный или под бирюзу, какая-нибудь монета болтается сзади. В двенадцать-тринадцать лет уже невеста, а в двадцать – никуда не годная недоразвившаяся старуха.

Типичны и мальчики. Этот маленький бутуз стоит, смотрит на вас, и вы уже чувствуете в нем сформировавшегося человека – совершенно готового, который никуда, ни вправо, ни влево не сойдет, который пойдет predetermined ему веками тому назад дорогой. Ребенок русского крестьянина – дитя, и в его белокрысых волосах, голубых глазах столько детского, несложившегося. Ребенок татарина уже хранит в себе тысячелетнего старика с козлиной бородой, старика развратного, превращающего двенадцатилетнюю девочку в жену, молодость превращающего в старость, человека-женщину – в раба.

Нет, непривлекательна и тяжела эта татарская жизнь, и

ничего симпатичного выйти отсюда не может. Женщина-ребенок – забитая раба-старуха не может создать героя, – она создаст ленивого и жадного эгоиста. В награду за этот эгоизм Магомет даст ему на том свете вечный рай с прекрасными гуриями и выбросит куда-нибудь в сорную кучу им изуродованных рабынь. Доказательство, что героев нет, налицо: из всего многочисленного племени ни один не воззвал к иной жизни, никто не стал на защиту своей угнетенной матери, жены и сестры.

Грязная девочка, вся в лохмотьях, с браслетами на тоненьких ручках, с прелестными задумчивыми глазами, в которых уже есть сознание, что почему-то и чем-то она уже скоро потянет к себе облезлые, отвислые губы какого-нибудь толстого семидесятилетнего развратника, – сидит предо мною, и ее кокетливо причесанные волосы, нарядные своим выражением и свежестью глазки резко контрастируют с ее лохмотьями. Она смотрит, и вдруг какая-то тень, точно облако на весеннее солнце, набегает на ее лицо: глаза туманятся, головка склоняется набок, и в моем немного оригинальном костюме, в моих желтых сапогах, в моей легкой шляпе художника она чувствует какую-то иную жизнь, не схожую, ничего общего с ее жизнью не имеющую.

Туманный контраст, неясные образы, как узоры замороженного окна, будят ее воображение, ее фантазия старается проникнуть куда-то. Но все это так неясно, так неуловимо, –

результатом только легкий вздох да ощущение какой-то мимолетной пустоты.

И этот чудный, прелестный ребенок через два-три года уже будет изуродованной матерью... Какая гадость!..

I

Каждое лето я беру в свои экскурсии нескольких человек из своей деревни. Это – их путешествие, их отдых от прозы жизни, и надо видеть, какое наслаждение, сколько пищи дает им такое путешествие. И часто их внимательный разбор чего-нибудь нового, не схожего с их бытом, их живой интерес ко всему останавливает и мое внимание и заставляет работать мысль над тем, что при других условиях, наверное, ускользнуло бы от наблюдения. Ничего не упустят из виду, – всё заметят и отнесутся критически. В это лето я взял Авдея, Филиппа, Тимофея, Логина и Алексея.

У Авдея детские светящиеся глаза, да и весь он, несмотря на свои двадцать пять лет, еще совершенный ребенок, – мягкий, впечатлительный, жизнерадостный. Жизнь только-только еще начала накладывать на него свою тяжелую лапу: отец умер, мать-старуха осталась, жена что-то стала прихварывать. Мгновениями, когда он унесется мыслями, вероятно, домой и задумается, уставившись в одну точку, его русая вьющаяся бородка, небольшая сутуловатая фигурка, затылок с торчащими из-под засаленной шапки мелкими

вьющимися волосами – все вместе производит впечатление маленького преждевременного старичка. Но немного надо, чтобы поднять опять его настроение.

– Лес-то, лес! – шепчет он, охваченный восторгом, оглядываясь в густых сосновых борах К-ской губернии.

Ему, ничего, кроме осинника, не выдававшему, кажется весь этот бор чем-то сказочным.

– Шумит-то, шумит, как в трубе... Вот где лешим раздолье... Медведи, чай, есть же?

Авдей – поэт, и поэтому его интересует шум леса, лешие, медведи.

Зато Филипп – олицетворенная проза и сейчас же ставит вопрос на чисто практическую почву:

– Бревна четыре из каждой лесины выйдет...

Тимофей – среднее между Авдеем и Филиппом.

– К нам бы такой лес... чего бы тут было...

Худой, с темным лицом и мутными глазами, Тимофей, недавно отбывший свою солдатчину, самодовольно оглядывается.

– Живей, живей, – побуждает их всех Логин, лет тридцати отставной унтер-офицер, скромный, но с достоинством, одетый в белый пиджак: чего, дескать, время-то по-пустому вести.

Тимофей, на мой взгляд, историк. Он постоянно копается в воспоминаниях не только своих, но и отцовских, дедовских и прадедовских. Все из действительного сейчас же отдается

в его голове чем-нибудь прошлым. Он умеет и любит рассказывать. Все прошлое, оттого, что оно прошлое, хорошо и заманчиво. Настоящее станет прошлым и будет тоже в свое время хорошо, а потому надо мириться с настоящим, как бы непонятно и нехорошо оно ни было. После будет и понятно и хорошо. Иногда это настоящее бывает очень невкусно, но он глотает его с такой же огорченной миной, с какой принимается невкусное лекарство: надо. Эта его гримаса очень характерна и служит часто для меня ключом к уразумению.

Филиппу лет тридцать. Он, что называется, незадачный – у него лошади дохнут, хлеб не родит и всегда какая-нибудь новая беда. Глаза большие, засели и смотрят. Здоров как бык; рыжеватая в темный цвет борода, добродушная широкая физиономия, большой открытый с белыми зубами рот. Ленив, добродушен, имеет маленькую, с лицом настоящей обезьяны жену, постоянно вспоминает о ней так же, как о своих шестерых ребятишках, с теплой удовлетворенной гордостью.

– У моей бабы нет этого... Мои дети не то что... просто, как есть... – говорит Филипп взасос и оглядывает меня и своих товарищей.

– Вот хоть барина спроси, – обращается он к кому-нибудь из местных, – я врать не стану.

– Славные детки, – говорю я.

– Ну... чего ж? вот барин говорит... Неужели врать стану? Он вспоминает про своего Федьку, двухлетнего пострела.

Впрочем, ничего почти он не сообщает про Федьку, и очевидно только, что Федька, пострел и сопляк, прочно засел в умиленном родительском сердце.

Логин, собственно, не из моей деревни и взят по протекции. Отставной старший унтер-офицер, он оказался тихим, выдрессированным, исправным работником.

Пятый работник – Алексей, разбитый жизнью, худой, высокий, весь поглощенный болезнью и постоянной нуждой.

II

Мы продолжали лежать на улице, ютясь в тени березы.

Тимофей лежал на животе, рассеянно собирал соломинки, совал их в рот и подыскивал тему для разговора. Не говорить ему так же тяжело, как другому говорить.

– Я грамотный... я страсть как охоч до грамоты. У нас старший унтер был, как не то слово – не так. Опять сызнова. Я устав это или тоже божий закон так, бывало, без запинки, слово в слово до самого Иосифа прекрасного, так и говорю... Страсть охоч был... Бывало, два раза прочитаю – все помню... Больно ловок был.

Тимофей даже глаза закрыл от удовольствия.

– Я не только что устав, а и божий закон... Я страсть сколько читал.

– Что же ты читал?

– Про Суворова.

– Ну?

– Хорошо... Все как есть описано... Как он солдатом был, как его Екатерина повстречала; очень уж ей понравилось, как он чисто, значит, на караул ей сделал. Она ему сейчас рубль золотой... А он ей: «Нельзя мне рубль взять, потому что я на часах... Ежели уж охота, так положь, значит, на лавочке рубль, или там по начальству отдай, – окончу дежурство – возьму...» Тут она сейчас его в офицеры приказала... Так все это описано ловко!.. Набрал он человек пятьдесят и из пушек неприятельских ночью да в них же, да крепость турецкую и взял. Тут его генерал расстрелять приказал; он, не будь глуп, – к Екатерине письмо. Тут она и отписала генералу: «Не вы, дескать, а я его сыскала и в офицеры пожаловала, а вы и власти иметь не можете над ним, и как бы он еще вас не пристрелил...» Ей-богу! да в генералы его... А он хоть и генерал, да что солдату, то и ему подавай, – все с солдатом, все сообща... Ну и надеялись на него войска – никого не надо, подавай Суворова, и шабаш...

– Ты в последней турецкой кампании не был?

– Нет... Только и было, что усмиряли поляков. В Люблине бунт был...

– Какой бунт?

– Их ксендз нашего православного, значит, в свою веру окрестить тайком вздумал... Собрал народ в костел и айда крестить. Тут полиция разнюхала – тревогу. Так и так, крестят в свою веру православный народ... Поляки за камни...

не дают, значит... Тут за нами... Стрелять не стреляй, а что если будет – в штыки. Тревогу. Дело праздничное: барабанщик пьяный... выскочил на снег без сапог – тревогу забил... Мы выскочили – что такое? Оробели, думали – австриец, а нас в Люблин повели. Пришли ночью... Поставили нас на площади. Поляки в нас камнями... Тут ближе да ближе... Один схватил мое ружье; ну, я не стерпел, как пырну его штыком... Потому, что ежели ружье взять, – это вроде того, что как позор, терпеть уж нельзя. Сейчас мне ротный: «Правильно, говорит, твою честь замарал». А другой ведь со службы уйдет: дурак был, дураком остался... Или ежели, к примеру, ты вот стоишь, а он идет: «Кто идет?» Молчит. Сейчас его другой раз, а за третьим стрелять должен.

– Да ведь он глухой, может? – спросил Филипп.

– Не ходи.

– Вишь ты!

– И все это неправда насчет поляков, что в свою веру сманивали, – проговорил вдруг рабочий, одетый в пиджак и шляпу.

– Неправда, потому что сам поляк, – прошептал Алексей.

– Да хоть и поляк... у вас насильно кого крестят?

– У нас, известно, нет, – отвечал гордо Тимофей.

– У татар поворачивают силком?

– Я про татар не слыхал.

– Значит, мы хуже татар выходим?

– Известно, хуже. Как же это, человека православного... –

Поляк только плюнул.

– Да кому надо-то вас крестить? Мало своих у нас?

– Знамо, мало, коли понадобилось.

Поляк молчал.

– Так просто на смех вам одно это сказали: видят, что дураки, что ни скажи – все поверят... вот и сказали.

– Поверят?! – сомнительно протянул Филипп. – Небось не больно-то поверят.

– Да вот же поверили?

– Поверили? Чудной ты человек, – поверили, потому что правда.

– Правда?! – с горечью повторил поляк. – Вот сейчас про докторов говорят, что они холеру разводят. Правда, значит?

– А ты как думаешь? – горячо заговорил Филипп. – Он тебе, чуть хворь, сейчас даст: дескать, не разводите заразу. А другой тоже и жив бы остался!

В мечети кончилось. Татары обступили нас.

– Травят доктора~, – проговорил похожий на негра. – Я в городе был... Болен не болен, только заявись ему, значит: сейчас палец с известкой всунет, покрутит-покрутит там, сейчас человек упал, кончал...

– Вишь, чего делают, – раздраженно проговорил Алексей.

– Полно вам глупости-то говорить, – вмешался поляк. – Необразованность ваша одна. Для чего ж вас зиму всю кормили? чтоб потом отравлять? так оставили бы, зимой и без того подошли бы все.

Наступило молчание.

– Просто, ей-богу, подошвы да и только, – проговорил поляк, обращаясь в мою сторону.

Я лежал с закрытыми глазами.

– Слушать ведь совестно.

Рабочий-поляк, еще молодой человек, какой-то забулдыга, производил очень симпатичное впечатление своей худой, скромной и в то же время интеллигентной физиономией.

– Ловко как это все у вас выходит, – проговорил Логин и высоко поднял свои брови. – Хорошо вы всё это одно к одному понимаете и за дураков нас считаете, а всё будто, как и мы, дураки, ничего лучшего не придумали, как с нами же, дураками, ту же работу делать.

– Не в этом сила.

– А вы тише! барин-то спит, – сказал Логин.

Наступило молчание.

Я открыл глаза.

Татары, дети обсели нас со всех сторон.

– Эх, дух какой... Маханщина, – сплюнул Тимофей и вышел из круга.

Он скоро воротился и проговорил:

– Вы бы хоть расступились, чтоб воздух доходил до барина... вовсе ведь смрадно...

Татары только молча сдвинули брови. Смрадно-то было смрадно, но у меня духу не хватало их разгонять: я подышу их смрадом да и уйду, а они останутся, и очень сомнитель-

но, чтоб скоро обстоятельства позволили им не жить в том смраде, в каком они действительно живут. Бедность, нужда, грязь, тараканы, вонь... В сущности, впрочем, то же, что и в русских деревнях. В избе теленок, овца здесь и там, таракан здесь, таракан и там.

Тем не менее русский человек обидится, если провести такое сравнение.

– Как же сравнить? – брезгливо отозвался как-то Филипп, – что крещеная изба, что нехристи...

– Маханщики, – добавил Алексей и сплюнул. – А дух-то...

– Телом грязные, оттого и дух, – объяснил Логин. – В баню они плохо ходят: свиньи настоящие, и дух у них оттого нехороший.

– Известно, от этого, – согласился Филипп. – Опять же конину, махан едят, – от этого тоже.

– Ве! – проговорил Тимофей и с омерзением сплюнул.

А этот самый Тимофей, поймав таракана, в сваренных в какой-то православной деревне щах, долго рассматривал его и проговорил с сожалением:

– Разварился, сердечный, – половина осталась, остальная половина по нашим брюхам разошлась!

И никто от мысли, что проглотил по кусочку таракана, не поморщился даже.

– А что, твое благородие, скажи правду, кормить станут нынче зимой? – спросил один татарин, и все насторожились.

– Да у вас, кажется, урожай...

– Ничего нет. Ветром всю рожь выбило. Только что трава на К-ке, а земля ничего не стоит... вся отбилась...

– Отбилась? – раздраженно проговорил Алексей. – Две недели до сева, а у вас парить еще не начинали... Как ей не отбиться, сердечной?

– Да ты хоть парь ее, хоть не парь...

– Вовсе опустился народ...

– Тебе что? ты кормить будешь?

– А то кто ж? – вмешался поляк. – Денег дай, а с кого их взять?

– Денег наделают, – брать и не надо.

– Вот на что надеется, – проговорил Логин. – Люди вон назмят, а у вас так навоз-то валяется...

– Хоть ты ее назми, хоть не назми... Теперь скотину всю кончал, нет назма, у русского, и то нет...

– Вам же дали лошадей?

– Две на деревню дали... спасибо...

– А что, твое благородие, – вызвался другой татарин, – скажи правду, кормить нынче станут?

– Я слышал, – ответил я, – что пошлют смотреть: у кого земля пареная вовремя да навоз возят, – того, если не уродило, кормить станут, а у кого нет, – тот иди куда знаешь, – значит, не работник на земле.

– Мы бы все ушли, да лугов жалко. Всю землю бери, луга только бы оставил.

– Луга, известно, – проговорил иронически Алексей, – их

не сей, не паши, да и косить-то не надо, только бы уродило, денежки принесут.

– Известно, принесут, – усмехнулся татарин.

Моих тяжело оскорбила готовность отречься от земли.

Когда мы, отдохнув, двинулись опять вперед, они снова возвратились к поднятой теме.

– Ишь, собака, чего брешет, – говорил Алексей, – земли им не надо.

– Земли не надо, – повторил Авдей и в раздумье покачал головой.

– Татарин он татарин и есть, их бы вот к ротному нашему, он бы их живо... – сказал Тимофей.

Когда мы проходили мимо татарского парового поля, Алексей обратил внимание:

– Ты гляди, сев подошел, а у них земля не парена. С чего ж тут родить ей?

– А земля-то, земля серенькая, – говорил Авдей. – Наша черная.

– Ну как же нашу равнять, наша черная, – убежденно повторил Тимофей.

– Только и всего, что будто избами вышли, – заметил Тимофей.

– Экий ты, братец мой, – с сердцем проговорил Филипп. – У нас будь этакой лес, разве не такие же избы поставили бы?

– Лучше еще, – удовлетворенно согласился Тимофей.

– Такеи бы избы поста-а-вили, страсть, – махнул рукой от

избытка чувств Филипп, – не то что избы, амбары...

И вся моя компания энергично захозяйничала в своих воображаемых лесах. Лица счастливые, удовлетворенные.

По мере приближения вечера, работа закипает все дружнеей.

Солнце садится, длинные лучи его скользят по тощим полям и теряются в туманной дали синеющего леса.

Потянуло наконец прохладой.

На горизонте рельефно вырисовался всадник-татарин в своей остроконечной шапке; он остановил лошадь и всматривается в нас, неведомых ему пришельцев. Очень типично. Ведь эти места, в сущности, бывшее К-ское царство. Триста-четырееста лет тому назад такой же татарин так же, вероятно, ехал здесь, с такой же красивой осанкой наездника, в такой же остроконечной шапке. Так же по К-ке косили сено да землю пахали. Разве земля, пожалуй, не так истощена была.

Подъехал татарин.

– Худой хлеб, – говорю я.

– Худо... ничего нет, – ответил решительно он и, помолчав, прибавил: – Семена поздно давал...

– Да и из них половину сами ашали, – перебил его Алексей.

– Чего будешь делать? Беда... Кормить не будут, все помирам.

– Дорвались до казенного, теперь не скоро отводишь, –

сказал Алексей и, обратившись к татарину и тыкая на паровое поле пальцем, закончил: – Ты парить не станешь, тебя и в будущий год кормить?

– Чего будешь делать? Отбилась земля.

III

Сегодня целый день идем лесом. В лесу и разговор лесной.

– В прошлом годе вышел приказ допускать крестьянам скотину в лес на пастьбу... – говорит местный рабочий Иван, с рыжей окладистой бородой. – Ладно... А лесничий траву выкосил, убрал, сметал в стога, – идите теперь со скотиной. Чего ж идти-то, когда всю траву-то выбрал...

– Когда скотине все одно что на полу, – взять негде... – вставил Алексей.

– Ну?

– Ну, так с тем и остались... Да ведь дело-то какое вышло: становой-то с лесничим не в ладах жил и открой все... Собрал с тринадцати волостей приговоры и препроводил их куда следует.

– Ну?

– Чего «ну»? Станового по шапке, а лесничий и сейчас тут. Нынче-то еще ловчее удумал... Пришел сенокос – молчит; пришло жнитво – молчит. Ветром как обило половину хлеба, как бросился народ весь до последнего в поле убирать остатки, а он повестку: траву, дескать, айдайте косить. Кто ж

пойдет?

– Или вот дрова разрешено в прошлом году. Опять царская милость, а чего вышло-то? Топора не бери: что, значит, рукой соберешь, только сухих веток... Другое дерево – сухой – так же пропадает, а то на земле уж лежит: без топора чего сделаешь? Ну ладно... Ветки так ветки собирать. Нет, стой: насбирал, вывози на опушку, опять складывай. Ежели пень найдут, – штраф... Ты сложил, а другой увез... Такую склоку сделали: сколько времени провели, кто в тюрьму угодили, кто без дров... А другой с умом и с деньгами обладил дело.

К концу дня выбрались на поле.

В версте деревня. В поле жнитво: и старый и малый.

Выбрался я из лесу с Тимофеем, остальные рубят.

Обступили Тимофея, поговорили с ним – ко мне подоновились. В деревне какой разговор? Всё о том же.

– Нет урожая...

– Ну что ж? Божья воля, – говорю я.

Старик крестьянин заговорил ворчливо:

– Нет, не божья... У бога и у царя милостей много! Ранний-то хлеб, что рожь, что яровинка, ты гляди, какой! А поздних нет.

– Зачем же поздно сеяли?

– Затем, что семена-то поздно дали. Рожь семенная в сентябре пришла, – посеяли, из краски без малого выйти не успела, – чего ж от нее ждать. Вот тебе своими семенами, вот

жертвенными: вот и гляди сам.

Разница была действительно громадная.

– А яровых и вовсе нет... Всю зиму смекали, как хлеб везти: лед прорубать на Волге. Чего выдумали? Плохому мужичонке слушать стыдно... Так всю зиму и продумали, а мы тем временем скотину размотали. Пришла весна: тут сеять – семян нету. На пароходе привезли... Айда в город за семенами. Тут опять новое. На нашу деревню всех девятьсот пудов выдано, а лошадей в деревне осталось пятнадцать, – кто побогаче, значит тот и вытерпел. Начальник тут приезжает и говорит: «Вот чего, братцы: надо помогать друг дружке; лошадные должны привезти все семена, что на всю деревню назначено». Тут один и скажи: «А ежели б у нас одна лошадь, к примеру, сохранилась?» Ну, его сейчас на три дня. Так до июня месяца и возили семена... Чего ж станешь делать? Сеять, пока не перевезем, нельзя. Пропустивши время, посеяли. Сей, пожалуй; мужика, как знаешь, так и поворишь, а лето в весну назад не загонишь!..

– Нет, братец мой, не загонишь, – согласился Тимофей и вздохнул всей грудью.

– И сейчас опять... Видно уж, что нет семян, а вот, гляди, опять когда выдадут... А начни говорить: в кутузку. Ты, говорит, смуту разводишь. Да кто ее-то разводит?! Царю, что ль, надо, чтоб милость от него зря шла?! Тебе себя оправдать надо, – ты и станешь валить на смуту?!

Подошли и остальные рабочие.

– Ишь, бедовый старик, – мотнул головой Филипп, с удовольствием останавливаясь послушать.

– Не в моей бедовости сила... Мне девятый десяток пошел... Мне три аршина земли-то всего... Со стороны сердце-то кровью обливается: народ гадится... Помощи много, а толку нет. Дело наше мужицкое с виду-то простое, а понимать его надо... Умнеющим человеком надо быть, чтоб это самое дело сошлось... А с виду-то просто... Просто, да не сойдется. Нет, не сойдется. Вот сейчас мужик – дурак, и тоё и сеё, а мужику виднее свое дело... Вот на какую линию выходит оно. Нас и спроси, чего нам надо; нам-то оно виднее; в твоём деле и дураки, может, а на своём выросли и померем. Вот оно, какое дело, – закончил старик.

Из моей деревни потупились и молчали, а местные с каким-то веселым равнодушием осматривали меня: ловко, мол, тебе старик загнул.

IV

Сегодня воскресенье и отдых от работ. Наша стоянка – деревушка в лесу – Опайкина Гарь.

Еду в гости к одному молодому человеку, звавшему к себе. Молодому человеку двадцать три года, и он в этом году кончил университет. Его имение верстах в десяти.

Нарядное, веселое утро. В селах народ идет в церковь, и дрожащий торопливый звон стоит и далеко разносится в

неподвижном воздухе.

Мой ямщик круто повернулся ко мне и заговорил:

– Всякое слово ты от нас принимаешь, и просто, вот как с самим собой, говоришь, то и с тобой. Вот сейчас мужика взять. Оно, конечно, мужик, а ведь мужик-то себя отлично понимает. Ты слышал, что даве-то старик толковал. Он ведь умный старик: во как в нем это одно к одному.

Ямщик повернулся к лошадям, подхлестнул пристяжную и опять обратился ко мне:

– Барин считает, что мужик ничего не понимает, а мужик считает, что барин мужицкого дела не знает. Только и всего, что тому можно над мужиком мудрствовать, а мужику свое дело и то нельзя делать. Встало дело – корми. Корми? А подать-то кто платить будет? Долго ли покормишь?! Лошадка-то в телегу села, – кучер лошадь повез. Далеко ли уедешь, твое хоть дело?

Ямщик повернулся к лошадям и озабоченно-внимательно заглянул кореннику в бок. Через мгновение он уже опять смотрел на меня и так же озабоченно-тревожно заглядывал мне в глаза.

– Так как же? – спросил он. – Неловко ведь? Неловко, неловко – сами видим, что неловко, а как быть-то?

Ямщик помолчал немного и продолжал:

– Сейчас взять хоть лошадей. С весны прошлого года дело открывалось. Осень прошла, все на виду стало: нет кормов, – на Кавказе корма. Сплавь по Волге скотину; ну, ска-

жем, рубль туда, назад рубль, зимовка три, – пять рублей. Сейчас нам на деревню отпущено пять лошадей по двадцать пять рублей – на эти деньги двадцать пять лошадей вместо пяти уберегли бы. Да не только двадцать пять, а то, что среди зимы мотали, то, что всякий надеялся до последнего: всё ждали, вот-вот извоз из Нижнего откроют... Господи, как мы того, что лед рубить надумал, честили! Ну можно ли такое дело исполнить?! Оттянули время, а тут, слышь, и совсем отказ. Который бы сначала половину бы продал скота, теперь скормил корм, должен был всего решиться. Оно и выходит, что ежели бы на Кавказ отсылать, так на те же деньги не двадцать пять голов, а все пятьдесят сберегли бы.

Ямщик ткнул кнутом в хвост коренника и кончил:

– А сейчас пять лошадей...

Через полчаса мы уже говорили о том молодом человеке, к которому я ехал.

– Лет сорок тому назад экое заведение тут было!.. Город, прямо город... Винный завод, бумажный... Народу-то, народу кормилось... Устройство какое... Праздник это придет... я парнишкой еще был – что уж это? Миткаль, да сарафаны, да сапожки...

Ямщик задумался.

– Так, точно рукой смахнуло... И куда народ девался и где все это... все повалилось... Старик-то и сейчас жив. Да чего, девяносто лет. А до сих пор, как солнце еще не встанет, выскочит во двор: все будто распорядиться...

Ямщик рассеянно погладил кнутом пристяжку.

– А чего распорядиться?! Так только смех один: ничего ведь нет.

– Хозяйства не ведут?

– Все дело потухло... Совы да он. И ведь живет же... Даром что девяносто, а бегаёт не хуже молодого... Известно, не ломаный... Рабочему человеку не стерпеть никогда... Все равно как лошадь рабочая или же, к примеру, заводская...

– А молодой как ему приходится?

– Внуком.

– Молодой что ж, тоже делом хозяйским не занимается?

Ямщик не сразу ответил.

– Нет же, не занимается... Он ведь тоже... Господь его знает...

– Ну?

– Да этакий он, – точно не в сборе, развальный какой-то... Мать-то у него рано померла, а тут экономка ли, нянька ли ее заступила... Она его и набаловала... Его бы порезче... страхнуть бы, а она и так и этак... пирожками, да тем, да другим... Он и вышел этак... точно не в сборе... Быдто сам не в себе... развальный... А так-то в нем все как есть...

Мы въезжали на пригорок, а оттуда в долину открывался вид. На первом плане развалившаяся мельница и прорванный высохший пруд. Дальше тянулись по обеим сторонам громадные каменные корпуса с провалившимися крышами. Еще дальше густой высокий сад и масса построек в нем. Из-

за зелени выглядывал весело барский дом в два этажа. Выше сада красиво рисовалась оригинальная, с плоской крышей, церковь – род портика, окруженного коринфской колоннадой. Каменная ограда, местами развалившаяся, местами сохранившая свой красивый причудливый узор. За ней несколько памятников: тонких, белых, на высохшей траве в блеске безоблачного голубого неба. Все красиво, эффектно, величественно и все подавляет какой-то пустотой, отлетевшей жизнью.

Потянулись какие-то обгорелые остовы, громадные пустые дворы и постройки с теньями своих обитателей.

Вот и усадьба, громадный заросший двор, заколоченный, точно слепой, двухэтажный барский дом с битыми стеклами, отвалившейся штукатуркой. Ряд флигелей направо и налево.

Меня повели в самый маленький и невзрачный.

Выбежала босая молодая горничная; посмотрела на меня и бросилась со всех ног назад. Вышла дама, и нетрудно было сообразить, что это и есть воспитательница. Добрые голубые глаза, загорелое лицо, простая ласковая речь.

– Пожалуйста, пожалуйста. А наш-то... спит ведь...

– Без четверти двенадцать!

– С вечера-то чуть не до утра занимается, – ну дня и прихватит. Я его сейчас...

Она ушла, а я оглядывался в столовой – прохладной, низкой комнате с самой разнообразной мебелью. В открытую дверь я вышел на террасу в сад. Терраса разохлась, пол

сгнил. Диван с торчащими во все стороны пружинами. Но есть насиженные места в нем, места, в которых поза сидящего произвольна и не от него зависит: хочешь не хочешь, а уложишься в след много лет сидевшим здесь.

Я сел, и меня охватило какое-то особенное чувство в этом пустом саду, под этим голубым небом, в этой тени террас, в удобной позе на старом диване. В дороге пыль, солнце жжет и морит. Так хорошо здесь под слабый шум этих качающихся деревьев...

Прихотливая дорожка сбегает туда вниз, к бывшему пруду... Китайский мостик. Рисуетя иная жизнь, отлетевшая в вечность...

А в столовой уже стучат чайной посудой, несут сливки, хлеб, масло... Есть хочется... А вот и хозяин, заспанный молодой увалень, своими голубыми глазами торопится рассмотреть меня...

– Здравствуйте...

Мы жмем руки, я смотрю в его глаза, и в них, как в зеркале, весь он, несобранный... Стоит и не знает, какому чувству отдаться: удовольствию свидания, неловкости – что в двенадцать часов он еще в постели, звать ли наконец чай пить, чтоб начать с чего-нибудь.

Ну вот и чай, а ему котлетка; так заведено. Это объяснение, что он без котлетки утром не может, потому что привык, – я выслушал с вежливой улыбкой, а мой молодой человек с рассеянным лицом, наверно, и не слушал, о чем го-

ворят. По его лицу было видно, что он о чем-то думал. О чем? Нет сомнения, что о чем-то хорошем, чистом, о чем говорили его свежие молодые глаза, отражавшие его душу, как пруд отражает чистое, безоблачное небо.

Съел он последний кусочек, как-то по-детски подхватив последнюю крошку, вытер рот и положил салфетку.

– Он чаю не пьет, – обратилась ко мне приветливая хозяйка.

Он сдвинул брови: да, конечно, если чаю не пьет, то и сидеть больше нечего. Он встал, но, заметив, что я еще не допил своего, сейчас же сел, недовольный на себя за свою рассеянность.

Пришел и дедушка. Не пришел, а точно влетел: беззвучно и быстро. Озабоченно заглянул каждому в лицо, познакомился со мной и сел. Небольшого роста, немного чуть-чуть сторбленный, с длинной бородой, в легкой чесунчовой паре. Хозяйка глазами спросила его и налила кофе в его большую чашку. Дедушка пил кофе, молчал и внимательно, по очереди, заглядывал нам в лица. Вся его жизнь прошла здесь. Раз в год на день, много на два, в город и назад, скорей назад, в свои развалины.

Встанет до света и хлопчет весь день: зимой за печками смотрит, завтрака, обеда, ужина ждет. Летом по двору, вокруг усадьбы, – там бывший пруд выкосит, там в саду: мало ли дела? Так и тянет до самим положенного предела в сто лет.

– Переживу предел, – говорит он пренебрежительно, – чувствую, что все молодею и молодею... Он... – показал дедушка рукой на внука и махнул презрительно, – старик передо мной.

– А хорошо у вас, – заметил я, выходя с молодым хозяином на террасу.

– Старое все, запущено, – ответил он рассеянно.

– Вы не думаете восстанавливать?

Он удивленно и даже испуганно посмотрел на меня.

– Я не люблю деревню... Только летом... дедушка требует... Нет уж, куда. Я хозяйства не люблю, меня и не тянет.

Мы пошли по аллее сада.

– Пруд прорвало, а то здесь гораздо красивее было.

– Это что? – спросил я, останавливаясь пред оригинальным видом.

– Могила одного святого татарина. Вся его святость в том, что он двадцать восемь, кажется, раз ходил в Мекку и вот на двадцать восьмом умер здесь. Его тут же зарыли, сделали над ним грот, и предание говорит, что с момента погребения из грота побежал ключ. Это было еще при Иване Грозном. Татары очень чтут его память и постоянно ездят. Ребятишки из деревни стерегут их, и богатые татары одевают их милостыней.

Пред нами был каменный грот – род большой пещеры, с террасой перед ней, а внизу под террасой ключ, прозрачный, чистый, сбегал по камням. Там, внизу у ключа сидело ка-

кое-то маленькое существо; оно повернулось к нам и уставилось своими маленькими мутными глазами. Это была старая, бесконечно старая татарка с узеньким, в складках, как у обезьяны, лбом и маленьким, как испеченное яблоко, морщинистым лицом с кулачок, с детскими руками, покрытыми, точно заплесневелая стена, каким-то налетом ветхости и древности.

Она сидела на корточках, держала в руках четки и что-то тихо бормотала. Я подсел к ней. На каждой четвертой четке: «Магомет».

Маленькое жалкое создание, вымученная раба своего Магомета, – она славит его, и ее последнее, дыхание принадлежит Магомету.

Кончила, повернулась ко мне, положила свою детскую руку и тихо, быстро заговорила мне что-то по-татарски. Она смотрела на ключ, на деревья, – дальше – в голубое, ясное небо, скользила по мне и говорила, говорила...

Сколько усталого доверия, сколько потребности отвести свою душу?.. Ее горловой, мягкий и, что странно, молодой голос лил свою жалобу, вибрировал, дрожал, и ей мелодично вторили и ручей, и шум деревьев, и мне казалось, что я понимаю эту старенькую обезьяну здесь, на фоне этих развалин, этого склепа, этого вечного неба.

– А-а-а! – стоном вырывалось из ее маленькой груди, и опять так скорбно и больно полилась ее речь. Так легко лежала ее рука на моем плече, так жаль было это маленькое

старое животное.

Бедная обезьянка, чем я могу помочь тебе? На тебе рубль, возьми его и с ним вместе мое бессилье что-нибудь для тебя сделать.

Да, и рубль, конечно, нужен.

Она рассеянно подала мне конец своего платка, чтоб я завязал ей этот рубль, и продолжала свою больную песню.

Солнце пробивалось сквозь листву, играло на ней, на ручье, деревья шумели...

Она сняла свою руку с моего плеча, и я, воспользовавшись этим, встал и осторожно отошел прочь с молодым хозяином. Она не заметила нашего ухода, продолжала сидеть, задумавшись, одна в пустынном, заброшенном углу сада, у могилы своего святого. Она кончила и ждала утешения. За меня ей давали это утешение и ручей, и деревья, и прозрачный, нежный воздух; все пело ей сладкую песнь о безмятежном покое, о близком уж отдыхе от тяжелой, лишенной радости жизни.

Я оглянулся сверху. На ярком нарядном фоне так подчеркивалась эта жалкая, неподвижная тряпка, этот контраст... Чего другого, кроме скорейшего покоя, пожелать ей?

Я уехал от гостеприимных людей, когда луна была уже высоко в небе.

V

Дни за днями всё в той же обстановке: поле, лес, деревни,

всё больше татарские. Все тот же неурожай и неудовлетворение.

«Умнеющим человеком надо быть...» – вспоминаются мне слова старика, и я хотел бы обладать волшебной силой, чтоб собрать сюда всех умнеющих, чтоб увидели и решили наконец этот не терпящий отлагательства больной вопрос деревни.

Мимолетная встреча у большой дороги под березами, во время привала, ярко запечатлевшаяся.

Пока там заканчивалась работа, я сидел и благодушно смотрел на разгоревшийся костер, на закипавшие чайники, на Ивана, который с таким аппетитом приготавливал мне обед: мыл стакан, разворачивал курицу, яйца, хлеб.

Проезжавшая мимо ямщицкая пара остановилась, и из плетушки уставилось в нас молодое, лет тридцати, загорелое лицо, в дворянской фуражке. Манеры военного, глаза уверенные, приветливые; вежливый поворот – один из тех, после которых тут же завязывается знакомство.

– Если не ошибаюсь...

Ошибки не было, и я пригласил путешественника отдохнуть и освежиться чем бог послал.

– *Merci bien*,² – небрежно проговорил он, на мгновение сделал скучное лицо, затем быстрым движением выскочил из плетушки и ленивой, уверенной походкой пошел ко мне.

² Весьма благодарен (*фр.*).

Несмотря на кажущуюся небрежность, *ponchalance*,³ как говорят французы, в общем чувствовалась какая-то деланность и отсутствие той простоты, на какую, очевидно, рассчитывалось. Беспечный, уверенный взгляд моего нового знакомого мгновениями туманился теми характерными выражениями неприятного ощущения, когда не все так хорошо, как бы того желалось.

– На вашу долю тоже приходится...

Он осмотрелся и лениво опустил на предложенную ему бурку.

Опершись на локоть, он бросил небрежный взгляд на свои выхоленные ногти, и мне показалось, что в этот момент он обдумывает, как отрекомендоваться. Я и без этого, впрочем, догадывался, кто предо мной.

– В наше время что человек, то мнение... то новый взгляд... Сумбур какой-то...

Проезжий сделал гримасу боли, гримасу, вызвавшую во мне невольную к нему симпатию. Встретив мой приветливый взгляд, он как будто встрепенулся.

– Скажите откровенно: вы противник или сторонник последней реформы?

– Откровенно говоря, я выясняю еще для себя эту реформу... Я не знаю ее...

– Спасибо хоть за это... Обыкновенно мы не знаем и судим... Это характерная черта русского человека – знание

³ беспечность (*фр.*).

заменять пальцем, приставленным ко лбу: чем меньше знает, тем больше апломба. В результате полный сумбур, который не со вчерашнего дня продолжается... Картина перед вами: вековой разврат крепостничества, блистательная реформа освобождения, переход от рабства сразу к дикой свободе, результат этого перехода...

Он остановился, хлебнул глоток чаю и продолжал:

– Свобода? Кому свобода? Озверевшему? Так дайте ж ему сначала образ человеческий, дайте ему тот руль, при помощи которого он сможет управляться с этой свободой... Дайте ему воспитание, то воспитание, которого не было у русского человека, и дворянина, и мужика за всю его тысячелетнюю историю... Нет-с, без конца своевременна реформа, хотя и пришлась поперек горла некоторым. Судите сами: произволу помещика – конец? земской деморализации – конец? воровству писаря, неурядице волостной, распущенности старшин, старост, полиции?

Голос говорившего оборвался.

Я мельком взглянул на него.

Красивые глаза его беспокойно бегали с какою-то внутренней лихорадочной тревогою.

– Трудная ваша деятельность.

– Трудная-то она трудная, да не в этом дело... Бог труды любит... Реформа эта тем и хороша, что законодатель нам только канву дал: много можно бы было сделать хорошего...

Он меланхолично обвел глазами горизонт.

– От законодателя реформа получила всё...

Он небрежно стряхнул пепел своей папиросы.

– Везде свои тернии.

– Везде-то везде, да каково-то вот здесь, на живом деле видеть, как отзывается это незнание живой жизни, этот канцеляризм... Надо знать эту жизнь, надо знать, как проникнуть в смысл ее, чтоб действительно что-нибудь вышло... Трудно... Как нарочно всё одно к одному: сверху, с боков... Природа и та точно взбунтовалась: один голод скачали, другой уже готов. Тиф кончился – холера. Там уже про чуму пишут...

– Ну, а снизу? с народом как у вас?

– С народом что? Надо знать русского человека. Чем проще, чем патриархальнее, тем лучше... Я с детства возле этого народа: вырос в деревне, тысячи человек в полку через мои руки прошли; придет хам хамом – уходит человеком. Наши либералы с дамским сердцем вопят: как? розги, в зубы?! Ерунда, чушь, то же самое незнание народной жизни... Сделайте милость: русский человек за этим не гонится, если всыпать ему за дело... Вот в кутузку, это – действительно разорение мужику. Да вот вам: послушай, братец, – обратился он к Алексею, незаметно насторожившемуся послушать, о чем господа говорят, – что тебе лучше, в тюрьму тебя посадить на месяц, например, или по-простецкому – зубы начистить, а то и выпороть? Говори прямо...

Алексей испуганно привстал и растерянно проговорил:

– Мы, ваше благородие, не здешние...

– Да я к примеру...

– Известно, к примеру, – согласился Алексей.

– Ну вот, ты и скажи, что тебе лучше: снять тебя вот сейчас с работы да в тюрьму или выпороть... к примеру?..

Но Алексей только повторял последние слова:

– Известно, к примеру...

– Вот наладила сорока Якова... Да говори ты... Можешь говорить?

– Когда не могу...

– Ну и говори.

– Чего мне говорить?! – ответил Алексей, и, не дожидаясь, встал, и ушел в поле.

– Откуда вы этакого болвана раздобыли? – добродушно спросил мой гость. – Его бы за деньги показывать... Вот чу-чело...

Наступило молчание.

– Трудно, трудно... и никто таки, знаете, никто этого понимать не хочет.

Он как-то подавленно вздохнул и махнул рукой.

– Другой раз, знаете, так разогорчишься, что просто взял бы да и бросил все... Вот этих дураков жалко...

Он показал на смотревшего чуть ли не в рот ему молодого парня.

– Ну, что смотришь?

И мой собеседник рукой спутал ему волосы.

– Славная морда, – снисходительно заметил он, обращаясь ко мне, и встал. – Ну; до свидания... Очень приятно встретить так неожиданно человека, с которым можно ответить душу.

– Все, бог даст, будет хорошо, – сказал он на прощанье. – Я, знаете, верю в приметы: все наши реформы начинались очень радужно, да кончались плохо. Бог даст – эта трудно начинается – конец будет хороший.

Он уехал, а я лежал на своей бурке, подперши подбородок рукой: застыла подавленная впечатлениями мысль, утомленный взгляд бродил, ни на чем не останавливаясь; мой чай стыл, но еда не шла на ум. Утомились и как-то скисли рабочие: не было обычного оживления, не было ни серьезных разговоров, ни шуток, ни обмена впечатлений: только покрывали да изредка тяжело вздыхали, подмазывая кое-что себе под головы, собираясь соснуть часок-другой пред предстоящей работой.

Вперед...

Праздник, голубое небо, солнце, отворенные настежь окна и двери церкви, головы молящихся, запах каких-то желтых, уже осенних цветов, привязанные лошади у ограды. Рабочие отпросились свечки поставить, и я за ними пошел.

Батюшка молодой, угрюмый, но симпатичный, тот самый, который вчера в заплетенной косичке, в подряснике, встретился нам в поле выпальвающим свою полбу, – стоит теперь на амвоне, в полном облачении, с распущенными, вол-

нами падающими мягкими волосами, – торжественный, нарядный, сосредоточенный и благообразный. Немного угрюмый, но чистый взгляд проникает толпу; он говорит проповедь на жгучую тему: о холере, о нелепых слухах, об астраханских беспорядках. Речь его, искренняя, сжатая, сильно бьет невежество, ярко рисует картину мрака и отупения – этих родителей всех нелепых слухов. Он клеймит безрассудных сильным текстом писания о людях, скотам уподобившихся. Старушки тихо всхлипывают, на лицах слушающих угнетенное чувство, страстное напряжение понять... понять, чтоб разогнать этот невыносимый страшный мрак души.

Головы, головы, головы, всё омраченные, опущенные книзу, а выше раскрытые окна с волнами света веселого дня; мягкое, синее небо.

Кончилась проповедь. Я вышел в ограду, ветерок играет волосами; несется из окна веселый возглас «благослови», и приятный певучий голос: «Благословение господне буди со всеми вами». Топанье ног, идущих к кресту, растянувшиеся группы выходящих из церкви...

На сегодня отменил работу: отдых на целый день. Рабочие разбрелись, и я вижу их из окна то там, то здесь смешавшихся с местными обывателями, сидящих на завалинках и мирно беседующих.

VI

Грязная изба, темный вечер на дворе, сонные мухи жужжат на тусклых стеклах окон. Душно. Сонный говор под окном; чей-то голос скучный, язвительный, монотонный.

– Вы бы, говорит, мне благодарность от мира.

– Считает, что заслужил, значит, – звучит знакомый голос Алексея, полный горькой иронии.

– Неволит... скажи ему, кто не согласен... Бла-а-годарность...

В воздухе замер шлепок от плевка.

Голос Алексея грустный, безнадежный:

– Всё ждали, ждали – лучше, лучше, дождались...

Саркастический голос Ивана:

– Просто, можно сказать, утвердили во всех правах и наследствах...

Меланхолический голос Алексея:

– Бывало, ходишь на богомолье, куда – в Киев; а что у тебя в деревне, что у людей – все распорядок один... Сейчас что загон, то закон.

Первый голос:

– Вот какой стал закон. Бывало, либо в деньги землю снимали, либо исполу. Сейчас сказать исполу: ну, пропала так пропала, и барское и мужицкое. А нынче вот как наш-то изловчился: гречу исполу посеяли, сколько, значит, себе,

столько ему, а уговор такой: дескать, мое особе, твое особе: как знаешь... К примеру, я себе десятину и ему десятину. Ему, значит, ее посеять, скосить, смолотить, – ну, исполу, одно слово, – что себе, то ему. Ладно: сейчас греча пропала... Это, бат, не мое дело, – вы мне вместо гречи ржи десятину выкосить да смолотить обязаны; вот, бат, жать действительно приневоливать мне нельзя вас, а косить – что назначу, то и коси... Такой закон, бат... Что станешь делать? Его закон – куда дышло, туда и вышло.

Оборвавшийся разговор начинается тем же голосом снова на другую тему и с другой ноты.

– Чтой-то время нынче, что ль, такое? вот точно кол стоит в брюхе, хоть ты что...

– Меня намедни схва-а-тило.

Я узнал голос Тимофея и вышел на улицу.

При моем неожиданном появлении лицо Тимофея вытягивается. Тем не менее я принимаюсь за него: капли, фланель, чай с красным вином и белый хлеб.

На другой день схватило Алексея и Авдея. На третий меня и моего ямщика Ивана.

Все «отходились», вино, капли, ходьба, фланель, мята, а главное – ходьба.

– В ходьбе все переломается...

И пояснение к этому закону:

– Сейчас напой горячую лошадь: нет лошади; а на ходу хоть два ведра, только пошибче поезжай потом.

Опять вперед...

Как-то в дороге поднялся вопрос ни больше ни меньше, как о том, что именно нужно для подъема благосостояния местности между Казанью и Малмыжем.

– Чего нужно? – говорил рыжий Иван, – переселяться на новые земли нужно... Земля серенькая, без навоза не терпит, навоза нет... да и земли-то ничего нет, – ты гляди: деревня на деревне... Тут по-настоящему расчет надо сделать, да каждый год сколько там придется – айда!

– Э-эх, за нынешнюю зиму прибавилось же, – заметил Авдей.

На кладбище, мимо которого мы идем, много новых крестиков: блестят на солнце.

– Переселенцы, – уныло говорит Филипп.

Филипп третий день какой-то угрюмый. Прежде, бывало, такой встрепанный, отзывчивый на все, – теперь апатичный: нет-нет и отстанет.

– Ты что, Филипп?

Филипп не то испуганно, не то угрюмо скользнул глазами и исчез куда-то в сторону.

– Ничего.

– Не болен ли?

– Нет. Табак вот забыл.

Я ему целую горсть папирос сунул.

– Ну спасибо. Домой бы уж скорей. Поди, отжались у нас.

И опять какая-то скорбная нотка, глаза в землю, в упор,

пригинаясь как-то, точно упирается, собираясь с кем-то бороться.

Ну вот и Малмыж – конец полуторамесячной экскурсии. И я и рабочие рады. Время-то нехорошее – только и слышишь: то в то, то в другое село забралась непрошенная гостья.

– Шатущего народа много, от них и идет.

Мы-то первые шатуны: и на нас косятся. Так всю дорогу: то мы от какого-нибудь села уходим, то, того и гляди, нас честью попросят подобру-поздорову убираться.

– Вон уж люди хлеб новый продают. Почем рожь отдавал? – остановил Алексей возвращавшегося из города крестьянина.

Крестьянин не сразу ответил. Он остановил лошадь, снял шапку, заглянул в нее, почесал голову и, не глядя, проговорил:

– Шестьдесят две...

– Вот так соскочила!

– Соскочила... – медленно произнес встречный крестьянин. И, тряхнув головой, тронув лошадь, закончил: – Выскочит опять... Вот месяц-другой свалит мужик хлеб, поедет за ним же, – все полтора опять будет...

Телега с мужиком и тощей лошадыю, громыхая, скрылась уже в пыли, а все еще находились под гнетущим впечатлением какого-то тяжелого, безвыходно тоскливого ощущения.

– Вот тут и суди, – заметил Алексей, – мужик продает де-

шево, покупает втридорога; богатый покупает дешево, продает втридорога. С чего тут богатеть мужику?

Толстый дьякон в грязном подряснике, увязавшийся за нами и давно как-то недружелюбно наблюдавший, проговорил, вдруг приостановившись и придавая голосу надлежащий тон:

– Ум к уму, деньги к деньгам. Ропщет тварь, писание забывши: воздай кесарево кесарю, божие богovi, а единый талант мнози имущему...

– Известно... – нерешительно сказал Алексей.

– То-то известно!

– Вперед, вперед! – несется голос нагоняющего нас Логина.

Когда дьякон был уже далеко, Алексей проговорил, понижая на всякий случай голос:

– А по-нашему, богатому бы покупать дороже, а бедному продавать подороже: вот тогда бы, гляди, дело бы скорей сошлось.

Наглядная разница между интеллигенцией и народом. Народ не знает, что такое элеватор, но необходимость до того чувствует, что готов даже додуматься до него. Интеллигенция, наоборот, знает, но настолько не сознает всей необходимости этого единственно могущего как-нибудь урегулировать цены учреждения, что каждый раз, как влетит в голову это слово, так тут же и вылетит без всякого следа до следующего случайно случившегося случая.

Это, впрочем, судьба всех таких слов во всякой беспрограммной деятельности, которую тот же народ так метко охарактеризовал фразой: летит, как птица на дерево.

Грустный каламбур: с одной стороны – знание без сознания, с другой – сознание без знания.

VII

Вот и город не город, деревня не деревня. По зданиям – деревня, по застою, тишине, апатии и отсутствию страстей и злоб дня – такой же город, как и все богоспасаемые русские города.

Злоба дня, впрочем, на этот раз есть: холера, и везде невыносимо несет карболкой.

Только что проснулся, говорят: Логин пришел. Позвали его ко мне. Вошел, прокашлялся и смотрит на меня, в своем белом пиджаке, так же, как, бывало, смотрел в глаза своему ротному, являясь к нему с докладом: спокойно, доверчиво и сдержанно.

– Филипп болен...

– Чем болен?

– Рвет, понос...

– Давно?

– Часа уж два.

– Зачем же не разбудили?

– Не осмелился.

Обыкновенно в таких случаях несмотря на то, что знаешь и имеешь массу средств, в данный момент ничего в голову не лезет. Чем ему поможешь?

– На голову жалуется... В лице переменялся... – И, помолчав, понижая голос, добавил: – Почернел...

– Ах ты господи, надо ж в последний день... Боже мой, там жена, шесть детей, мать-старуха – с какими глазами явиться к ним!

– Да как же это? с чего? что он ел?

– Да так, ничего такого... что и другие... Вчера, как пришли, по стакану водки выпили, чай, квасу маненько, молоко...

– А раньше с ним ничего не было? ты не заметил?

Я вспомнил его угнетенное настроение за последние дни. Логин не сразу ответил.

– Жаловался он действительно мне как-то... «Что-то сердце у меня, говорит, тоскует». Я ему говорю: «Может, о своих вздумал, ну и встоскнул...» – «Нет, говорит, будто дома-то, надо быть, благополучно: на жнитво денег выслал, опять же хлеб убрали, не мудрой, а всё для переворота есть». – «Ну так, говорю, что-нибудь, может, домашние о тебе тоскуют». – «Разве, говорит, домашние».

– А так расстройства, рвоты в дороге не было?

– Нет, ничего не замечали.

Логин опустил глаза в землю.

Когда какая-нибудь неожиданная беда появится сразу, все

кажется, вот-вот сейчас это пройдет и опять по-прежнему все будет хорошо... Вчера еще был здоров... Был ли? Что же делать? Лечить. Здесь, в городе, где и доктора и больницы.

– В больницу надо скорей, – сказал я.

У Логина рябнуло в глазах.

В этот момент Логин был уж настоящим фронтовым унтер-офицером, которому я отдавал приказание выводить приговоренного на расстрел. Он еще строже оправил свой корпус.

Смотрит и молчит. Там, что внутри у него чувствуется, какой-то тревогой, помимо моей воли, охватывает и меня.

– Не хочет? – спрашиваю я.

– Так точно, – говорит Логин, понижая голос.

Ах, боже мой, вот несчастное заблуждение.

– Ну, я сам сейчас иду.

У Логина сверкнули глаза минутной надеждой, он вышел, а я стал быстро одеваться.

Рабочие остановились через дом. В большой темной комнате лежал Филипп. Я наклонился.

– Филипп!

На меня, на мгновение, сверкнули мутные, с желтыми белками глаза Филиппа. Какая страшная до неузнаваемости перемена. Только зубы белые и еще ярче скалятся на осунувшемся почерневшем лице.

– Филипп, что у тебя?

– Го-ло-ва... – едва-едва говорит.

– В больницу надо, Филипп, – говорю я тихо, ласково, охваченный бесконечной жалостью к бедной жертве.

– До-мой...

И слезы брызнули из его глаз.

– Батюшка, заставь богу молиться...

Ба-а... го-о-о-ой!..

Началась та ужасная рвота, про которую говорят, что точно сердце вырывает изнутри.

Нет сомнения: она, страшная гостья, сидит в Филиппе, и нельзя терять мгновения.

– Послушай, Филипп, – говорю я, собирая всю свою энергию, когда припадок кончился, – ты веришь мне?

Глаза Филиппа тяжело поднимаются на меня.

– Филипп, иди в больницу. Вот тебе святой крест, чтоб ни я, ни жена, ни дети мои царствия небесного не видели, если доктора морят.

– Ну, видишь же? – говорит Логин, и по лицу его, и всех, и Филиппа пробегает луч света.

– Иди в больницу, Филипп: там всякая помощь, – они выросли на этом деле, что я перед ними понимаю? Могу разве я взять на себя грех лечить тебя здесь, где настоящие доктора. Может, сейчас я заболею, сам пойду в больницу.

Филипп начал подыматься...

– Идешь?! Ну, спасибо... Лошадь...

Быстро запряг Иван, усадили Филиппа и повезли. На телеге, поддерживая его, сидел Логин, а возле шли Тимофей и

Авдей. Алексей не пошел. Глаза Тимофея беспокойно бегали, он старался утешать Филиппа и говорил, говорил... Вряд ли слушал его кто; даже он сам: просто потребность пересохшего языка да охваченных тревогой и пустотой внутренностей: вот-вот и с тобой начнется. Авдей шел молча с опущенной головой, и еще плотнее прижималась его засаленная шапка к затылку с мелкими вьющимися волосами. По временам он вскидывал на Филиппа глаза и смотрел украдкой тихо и тоскливо. Логин сидел и хранил несокрушимое спокойствие. Иван угрюмо прихлестывал лошадь и, вероятно, был бы бесконечно рад быть теперь далеко-далеко от всей нашей компании, где-нибудь на самом дальнем своем загоне, теперь таком близком его сердцу, несмотря на редко где-где болтающийся колос.

В бараке сейчас же раздели и уложили Филиппа в кровать. Форменная азиатская холера. Сено на телеге сожгли, а всех опрыскали карболкой.

Филипп поразил всех своей страшно развитой мышечной системой. Точно толстые переплетенные кучи канатов, а не руки, богатырская грудь, сравнительно короткие железные ноги и мускулы на них.

– Железо: корчей нет, – продолжал доктор, щупая мускулы.

Доктор какой-то опухший, опустившийся, лет сорока.

– Настоящая холера?

– Чего не настоящая! Форменная: холерная жижица... В

настоящий момент у него происходит тот же процесс, как и с мушкой... Видали результат мушки? Ну так вот, представьте себе, все стенки кишок вздуваются такими волдырями.

Доктор тупо остановился на группе рабочих, стоявших у окна.

– И эти передохнут... Все подохнут!.. Проклятая либеральщина... Земство...

Доктор сверкнул глазами и тупо оглянулся.

Я поинтересовался: когда он кончил курс.

– В семьдесят пятом году.

– В разгар идеализма, – заметил я.

– Было дело... валял дурака.

Возвратившись домой, я отдал приказание готовиться к отъезду, наделив рабочих каплями, кипяченой водой, наставлениями.

Рабочие со страхом и тоской смотрели мне в глаза. Что-то близкое, родное установилось в наших отношениях.

– Эх, добраться бы уж... – вздохнул Тимофей и плотно сжал свои бледные губы. А глаза так и бегают – тревожные и мутные.

Перед отъездом пошли проститься с Филиппом. Я запретил им говорить, что уезжают: дескать, на работу уходят, через два дня вернутся.

Возвратились, совсем упавши духом.

– Плачет... Вы, говорит, меня обманываете: уедете...

Голос Тимофея оборвался, он замотал своей тонкой шеей

и отвернулся с обычной тоскливой grimасой.

– Лучше ему?

Рабочие молча потупились.

– Плох, – односложно проговорил Логин.

– Лечат?

– Лечат, – вытянул как-то Тимофей.

А там, далеко, радостно ждет кормильца своего семья.

Я проводил их на пристань и усадил на маленький уходивший пароход. Они поехали, сиротливо сбившись в тесную кучку у белого борта парохода.

Чувство радости, благодарности, облегчения тревог и тоски перемешивалось и сверкало в их прощальных взглядах. Мне жаль было, я уже привык к этим своим товарищам по путешествию.

Проводив их, я не поехал в город, а воспользовался свободным днем для осмотра пристани, левого берега Вятки и, возвратившись в город только к вечеру, проехал прямо в барак.

Весь день перед глазами Филипп: то больной, с тошнотой, не проходящей в моменты даже самых злых припадков рвоты, с тошнотой в желудке, в голове, в желтых больных глазах; то закрадывалась вдруг надежда, что лучше ему, что благодатный сон уже охватил его, и завтра-послезавтра, возвращенный к жизни, он уже будет ехать со мной в свою деревню.

Когда я подъезжал, меня охватило сильное волнение. Там, за этими дощатыми стенами барака, я узнаю сейчас тот или

другой исход. Мои глаза беспокойно бегали и угадывали, что там.

Я прошел двор, встретил сторожа, не решившись спросить его. Входная, наскоро сбитая, дверь отворилась, и предо мною стоял небольшой, с желтыми волосами, бесцветный фельдшер. Мне бросились в глаза его красные веки и поношенный черный сюртук.

Я со страхом и надеждой впился в него.

– Скончался...

Скончался! отдалось во мне, и мысли спутались и порвались, точно вихрем каким-то подхваченные, и напрасно я силюсь овладеть собой.

– Скончался!.. – повторяю я в волнении и останавливаюсь.

Стоит и фельдшер, тупо осматривая меня.

– Давно скончался?

– Минут двадцать. Сейчас выносить будем.

– Он еще тут на кровати?

Я сделал движение.

– С окна загляните.

Я послушно повиновался, обогнул двор и подошел к крайнему у забора окну.

Этот скорчившийся, черный: это Филипп. Он точно меньше стал; я заглянул ближе. Слепые, выпяченные, застывшие глаза, плотно сжатые белые зубы, остатки рвоты на грязной бороде. Какая-то невыносимая напряженность во всей судорожно сжатой фигуре, точно и смерть сама – недостаточный

покой от пережитых страданий. Я стоял, охваченный животным ужасом, и бессмысленно впивался в изменившиеся до полной неузнаваемости черты.

Мертвый Филипп, а перед глазами так и стоит живой, и забытые мелочи ярко, выпукло встают в памяти: рассказ вазос о постреле... Скорбная фраза: «Поди, отжались у нас», и взгляд... Фигура его как живая, собиравшаяся потягаться до последнего...

– Так и не принял лекарства, – подошел изнутри фельдшер, бросив взгляд на труп Филиппа... «Вы меня, говорит, уморить хотите».

– Как не принял?

– Стиснул зубы, хоть долотом разжимай... Главное, время такое... выскочит на улицу: бунт... Бросили... что ж с ним сделаешь?

Я пошел прочь.

Не принял лекарства! Не поверил и мне, не поверил, несмотря на клятву. Он не поверил, зато я поверил, – сам себе поверил и поехал спокойный. Пока ездил, он сводил свой страшный итог. Один... оторванный... в убеждении, что кругом его палачи.

– Ах как плакал перед смертью, – говорит, провожая меня, сторож. – А тут, как узнал, что ребята уехали, заметался, заметался, так и кончился.

– Кто ему сказал?!

– Я же и сказал.

А я клялся ему, что мы будем ждать его. Значит, если и было какое-нибудь сомнение на мой счет, то после этого умер без сомнения.

VIII

Со смертью Филиппа мои дела закончились, и я, не медля, по возвращении домой, погоняемый невольным каким-то страхом за себя, с одной стороны, желанием поскорее попасть к своим – с другой, решил ехать, не ожидая парохода, на лошадях. Так как ни почтового, ни земского тракта не было, то и поехал я на вольных глухими деревушками, глухими местами, такими местами, где слово «проезжий» не сразу понимается и сопровождается пытливым подозрительным взглядом.

– Так, – говорит молодой еще, грубоватый крестьянин с умными глазами, с голосом, в каждой нотке которого чувствуется нутро его.

И, помолчав, прибавляет:

– Лошадей, значит... Тройку, что ль?

– Да уж тройку.

– Так...

Опять молчание.

– Так как же? – спрашивает крестьянин, – тройки-то во всем селе нет. Пару нешто? Не сто пудов, чать...

– Ну, пару.

– Нешто...

Он чешет себе грудь, спину и говорит:

– За лошадыми, видно, бежать.

– Ну так беги, а я чаю напьюсь.

– И то... Самовара вот нет... В лавочку разве сходить...

Кое-как улаживается дело, и самовар мне приносят из лавки.

Мужик убежал за лошадыми; в избе тихо, в сенях старуха с помощью прежнего моего ямщика возится над самоваром. В окнах широкая, поросшая травой, пустая улица; деревушка маленькая; избы, как пьяные, покосились кто куда. Редко-редко группа детей покажется из-за угла.

И чай давно отпил, и солнце уж книзу пошло, уехал старый ямщик, а новых лошадей нет да нет, и сижу я, поминутно оглядываясь в окно, да от нечего делать перебрасываясь словами со старухой.

Старуха тихая, благообразная, телом рыхлая, ходит медленно, переступая, как стеклянная, но в лице и фигуре чувство собственного достоинства. Сесть не решается и говорит, стоя у дверей, готовая скрыться, чуть заметит, что присутствие ее меня стесняет.

– Садись, бабушка, – говорю я.

– Спасибо, милостивец, и постоим... смолоду при господах своих живала, порядки знаю.

Старуха степенно опускает глаза.

– В какой должности при господах была?

– В кормилицах жила. Вот этот, что за лошадьми убег, брат молочный барину... Барина, поди, тоже теперь не до-станешь... Давно было...

– А барин здесь же?

– Нет, продал все. Давно продал, так и пропал: ни следу, ни весточки... Купец, значит, заступил: за долги ли, как ли – их дело, батюшка мой.

– Ну что ж, когда лучше было? прежде или теперь?

Старуха поджала губы.

– Как сказано: локти выше головы не растут; хорошему везде хорошо, худому везде худо. И при господах, хоть ска-зать, бывало: потрафил в линию – живи себе до самой своей смерти... Захотел умом раскинуть, – ну, тут гляди, как бы с большого ума да на малый не выйти.

– Так, что если б сейчас в крепость назад повернуть?

Старуха пытливо заглянула мне в глаза, оправилась и как-то странно проговорила:

– Так что, батюшка мой, от нас супротивности нет... Мы век жили, худого слова не слышали: весь род наш повадли-вый... как хошь, так и повороти: нет от нас и не будет...

Но голос выдавал старуху... Угнетенная, тоскливая нотка отчетливо звучала.

– Нет, бабушка, не течет река обратно, – сказал я весело.

Старуха вздохнула.

– Эх, милостивец, не знаю уж, как и сказать... Времена-то нынче мудреные стали... Старуха, что ль, стала, понимать

перестала и вижу не вижу и в толк не возьму...

– Мудреные времена?

– Мудреные, батюшка, мудреные... В народе и-и-дет, идет – вот как улей перед роем, – только гул стоит... Так вот... и свет не в свет, и день, что нет его, ровно ночь перед глазами... Тот то, тот другое. Странный народ потянулся: откуда берутся, – точно ветром его несет, как при дороге... С опаской живем, а все кого и пустишь... Чего говорят? Страсти! Страсти, батюшка, страсти... слушать только – холодеть станешь; перекрестишься: господи, убери ты меня вовремя!

В голосе старухи тоска, и долгий взгляд ее спорит с долгими золотыми нитями мирно заходящего за пригорком солнца.

Из всех ее рассказов и без вопросов мне ясно, что в селе еще нет холеры. В воздухе только чуются ее предвестники: нелепые слухи да смутный страх, смутная решимость не на жизнь, а на смерть отстаивать себя от кого-то и чего-то.

Наступит следующий период: мелькнет страшное лицо непрошеной гостьи, и появятся первые жертвы. Это бурный период. По улице будет дико бегать какой-нибудь пьяный, растрепанный детина, косая сажень в плечах, будет засучивать рукава и пьяно реветь: «Какая такая холера? Подай ее проклятую! Выходи! Не боюсь!! Дохтурская выдумка!» А к вечеру уж понесут его в места вечного упокоения...

Следующий период: «Тоже хвались, пожалуй... Силу в себе взять надо: укрепиться в себе». И крепится он и ищет в

себе силу: и с крепью и силой и его рвет неумолимый враг.

Третий период: уже без шума и протеста идет глухая неравная борьба: кругом, куда ни кинет глаз, все тот же гнет неизбежности, все тот же горизонт безысходной тоски смерти.

В своем сумрачном безмолвии выглядывает угрюмо такое село, и далеко кругом объезжает его мой ямщик: точно какой-то гигант покойник. А в тон этому покойнику, на полях другой покойник: природа – мертвая уже природа, истощенная, мертвая кормилица, ничего не смогшая оставить после себя своим голодным детям.

Бесконечным саваном расстилаются поля и давят душу своей пустотой.

IX

Скучно ехать ночью. Поневоле говоришь.

– Не стало мужику ходу, – так мы считаем. Сейчас хоть общественную запашку взять. Либо бери, либо с голоду помирай: запашки нет и продовольствия нет. Запашку возьмешь – опять беда: половина деревни безлошадная, а порука, чего с него взять? Значит, лошадный становись за безлошадного, это что ж – на людей работа, выходит? Много их, охотников, будет.

– Ну, а как, по-вашему, запашка – толк в ней есть?

– По-нашему, по-дурацкому, так выходит: под запашку

отнял землю, меньше стало ее, меньше и родить будет. Опять – мало взял под запашку земли, толку не будет. Нынче на общественных сто пудов уродило, а за миром шесть тысяч пудов; тут чего же? Когда считаешься? Если отвести землю как следует – половину поля надо отхватить. А сам на чем станешь сеять? Нас вот и берет страх: хватятся, что толку от нынешней запашки нет, да как отхватят половину земли! А деться некуда. Так и встало дело; мы на запашку не идем, а нам продовольствия нет.

– Чем же кончилось?

– Чем кончилось? Пошли на запашку, как остальную скотину съели. Чего поделаешь? Сейчас какая вся причина в запашке? Земство не надеется на бедного мужика, опасается, как бы помещику за него платить не пришлось, оно на богатого мужика и валит. Да мужику-то богатому какая неволя в петлю лезть? Только и всего, что кого сила берет, разбегутся на вольные земли, потому что жить в миру нельзя становится. Путные уйдут, а с этими каши не сварить же...

Наступило молчание.

– Надоела же, поди, наша старуха тебе? – спросил ямщик, поворачиваясь ко мне.

– Нет.

– Охотники, значит, до наших мужицких речей.

– Чья бы ни была: умна бы была.

– И то... Поди, глупости говорила... Чего баба скажет?

– Ну, по-моему, в бабе вся сила. Как говорят, где черт не

сможет, туда бабу пусти.

– И так, – усмехнулся ямщик. – Да вот в Соснах оно и вышло на то.

– Это что? село?

– Село... верст двадцать будет... Народишко бедный, с весны кто уцелел, – на заработок потянулись... А тут хворь... Назад... Так и прошатались без толку, да и хворь принесли.

– Холеру?

– Ее самую, не к ночи будь сказано. Перва тут: дохтура ни-ни! А уж как зачало их мыть, бабы и насели на мужиков... Настояли... Присогласили дохтура... теперь не слышно стало.

– Выходит, в бабе сила?

– Тут уж известно какая сила, деваться некуда стало...

– А много умерло, пока доктора надумались позвать?

– Да умерло же... человек близко тридцати... а деревнюшка-то чего? дворов семьдесят.

Тридцать человеческих жертв понадобилось, чтобы приобрести остальным тремстам микроскопическую дозу просветления. Дорогой ценой покупает русский человек (русский ли только?) это самое просветление, и невольно является вопрос: что эти жертвы по отношению к просветившимся? Я думаю, это всё те же фонари, с помощью которых мало-помалу освещается непроходимый мрак человечества. А в таком случае мы, интеллигенция, в своем самодовольном

понимании факта, что причина всему мрак и невежество, мы, жаждущие своего покоя, мы, бессильные осветить их мрак, – мы кто?..

Х

По дороге в мое имение живет оригинал помещик лет пятидесяти пяти. Он сам себя называет: «Голодный, но свободный дворянин». Соседи с едкой называют его «вечным мировым посредником».

В сущности, с точки зрения современности, это уже сошедший со сцены человек. Весь последний период жизни нашего общества он совершенно не признает, от жизни не ждет ничего, ничего ей не уступил, и теперь, не расторговавшись своим товаром, без надежды расторговаться, уложив все в чемодан, сидит и спокойно дожидается сигнала к далекому путешествию.

Ни желчи, ни раздражения. Бодр, весел и отзывчив, как женщина. Был богат – почти ничего не осталось. Имел жену – прелестное, идеальное, не от мира сего создание, и ее уже похоронил. Но считает себя крезом и счастливейшим из смертных, глядя на своих многочисленных сыновей от студенческого возраста до пятилетнего Борьки.

– Что я? Вот Борька... Борька, что такое авторитет?

Пятилетний бутуз Боря, с лукавыми глазенками, идет в угол и несет палку.

Отец добродушно-лукаво косится в мою сторону.

– Больше всего что ты любишь?

– Правду.

– А где правда?

Но Борьке уж надоело, и он начинает прыгать зайчиком по комнате.

У другого, может быть, получилось бы впечатление какого-то мальчишества, но у Аполлона Аполлоновича, вся жизнь которого – одно сплошное, чистое, как кристалл, стремление к высшей, духовной, не эгоистической жизни, – вся эта сцена получает какой-то мирящий с жизнью колорит. В этом Борьке, в этом маленьком деревце видишь смену отцам, бодро устоявшим в грязной тине вдруг уставших и отупевших членов общества.

Кроме непрерывного курения толстых-претолстых папирос, у Аполлона Аполлоновича есть и еще наслаждение: охота на медведей. Раз в год, с двумя сыновьями, отправляется он в леса Уфимской губернии и проводит там неделю-другую, отдаваясь этой охоте с пылом и страстью двадцатилетнего юноши.

– В чем тут прелесть?

– А вот поедем... Когда в двадцати шагах перед вами встанет чудовище, могущее, при малейшей неловкости, разорвать вас, как гнилую тряпку... Вот этот момент, это сознание победы духа, отсутствие страха, лицом к лицу с своей смертью, – и доставляет наслаждение.

– Ну, а дети?

– Дети? Да теперь уж они на первом номере: я только на всякий случай.

По пустым стенам кабинета висят медвежьи шкуры.

– Это вот Колины уже...

Я застал хозяина только что приехавшим с поля.

– Беда нынче совсем у нас, – проговорил он после первых приветствий. – Со всех сторон повалило...

Мы вошли в дом. В комнатах семейный беспорядок тех домов, где не ждут гостей. По дороге валялись опрокинутые стулья простой вятской работы. В одном углу целый склад из них, а под этим складом торчит Борькина физиономия, с некоторым недоумением всматривающаяся в меня. Узнал и весело стал выкарабкиваться ко мне. А там за ним еще целая компания: две крестьянские девочки, мальчик. Мальчик – сын кучера, девочки – сиротки, живущие в доме Аполлона Аполлоновича. А в детской пищала третья, еще грудная, потерявшая зимой в тифе отца и мать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.